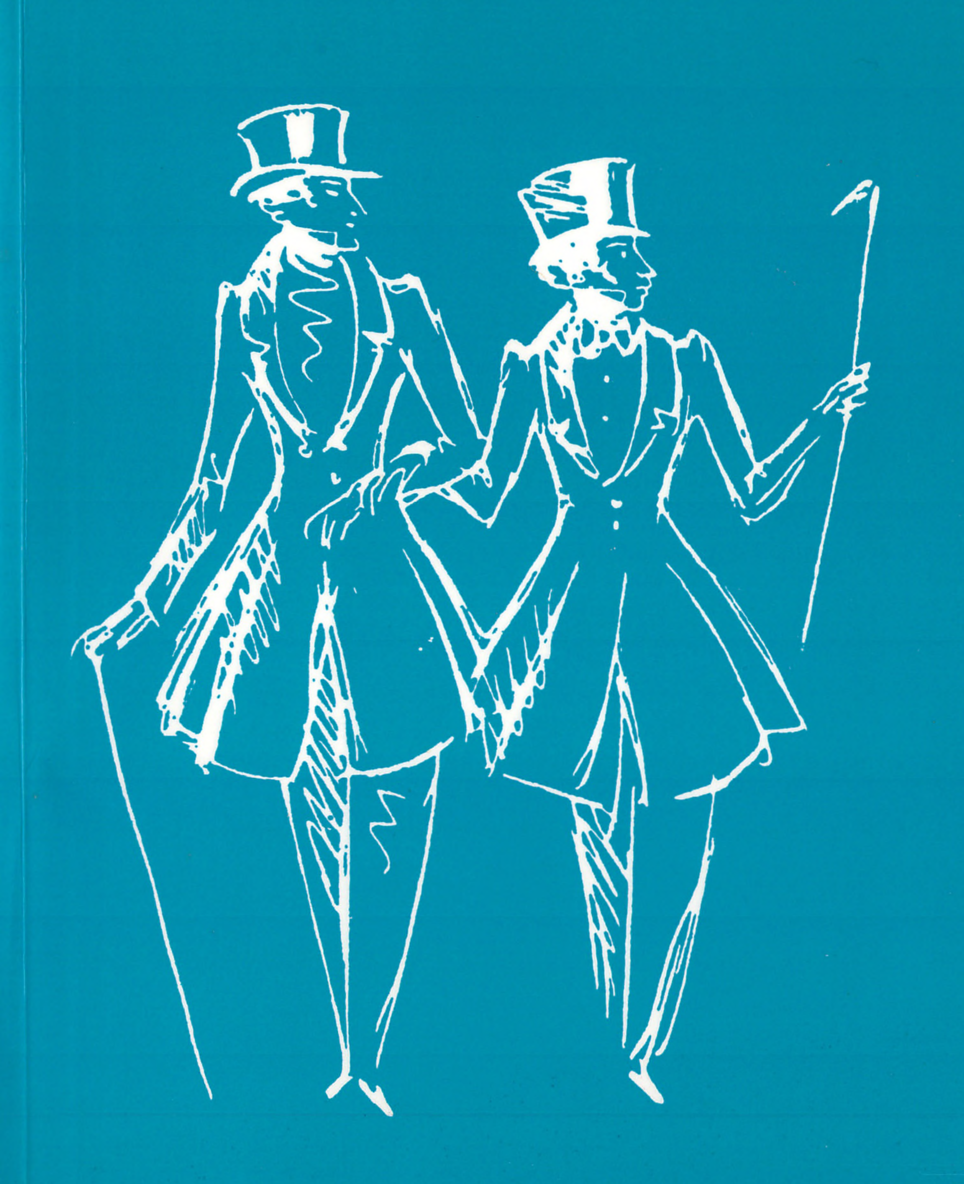
ЕВГЕНИЙ ВЕРТЛИБ

1812 ГОД У ПУШКИНА И ЗАГОСКИНА



Евгений Вертлиб

1812 год
у Пушкина и Загоскина

ЕВГЕНИЙ ВЕРТЛИБ

1812 ГОД

У ПУШКИНА И ЗАГОСКИНА

(К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ)

EFFECT PUBLISHING

New York, 1990

Евгений ВЕРТЛИБ

1812 ГОД У ПУШКИНА И ЗАГОСКИНА
(К вопросу об истоках русского самосознания)

Eugene A. Vertlieb

1812 GOD U PUSHKINA I ZAGOSKINA

"1812 in the Works by Pushkin & Zagoskin"

ISBN: 0-911971-52-1
Library of Congress: 90-080969

Published & distributed by
EFFECT PUBLISHING Inc.
501 Fifth Ave. Suite 1612
New York, NY 10017
USA

РУСЬ — «ВОСТОК КСЕРКСА ИЛЬ ХРИСТА»?

К вопросу жизни или смерти русского самосознания

...О Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?
1890 Владимир Соловьев

...Должны ли о святой неделе изломать
все лубки для того только, что
в Париже не катают яйцами?
Адмирал Шишков

История, как известно, повторяется. В 1860-х годах наблюдалась аналогичная «межбурьность», «смена вех» в русском обществе. В итоговой характеристике Хроник 1863 года Салтыков-Щедрин отмечал драматизм положения, в котором оказались преследуемые «реакцией» люди «честного идеала» («ушибы и другие огорчения»), давление цензуры на печать («я никогда не являлся перед тобой в своем натуральном виде, но всегда несколько искалеченным»), и рикошетом — «эзопов язык», в какой-то мере нейтрализующий усилия властей по предотвращению брожения в массах. Появившаяся тогда «веселая манера» рассказа (чем не «молодая проза» демдвиженцев?) дала, по наблюдению Салтыкова, возможность трезво расценить события, выявить смысл происходящего, предостеречь от пессимизма и уныния, внушить своим сторонникам мысль о победе духа неизбежных перемен.

«Общество, — констатирует Салтыков, — чувствует, что если оно останется при прежних своих основах, то неминуемо придет к ликвидации, и эта перспектива заставляет его серьезнее вглядываться в самого себя... Направление литературы изменилось потому, что изменилось направление самой жизни; произведения литературы утратили цельность, потому что в самой жизни нет этой цельности... Неслыханное, затаенное и невиданное целым потоком

врывается на сцену и, разумеется, врывается на первых порах в отрывочном и даже не всегда привлекательном виде. Число действующих лиц непрерывно увеличивается новыми милыми незнакомцами, которые, в свою очередь, скрытничают и выставляют напоказ только то, чего уже ни под каким видом скрыть нельзя. Одним словом, в самой жизни выступают на первый план только материалы для жизни, и притом до такой степени разнообразные и малоисследованные, что самый проницательный наблюдатель легко может запутаться в тех кажущихся противоречиях, которые, разумеется, прежде всего бросаются в глаза. При таком положении дел литературе остается выбрать одно из двух: или лгать, то есть вымышлять картины жизни несуществующие, или же делать частные наблюдения, писать отдельные биографии. Но лгать, очевидно, нельзя, потому что всё, что можно было вылгать на старые, избитые темы, всё уже вылгано, а новых тем для лганья жизнь не дает; стало быть, остается идти по последнему пути, то есть заниматься подробностями. Когда сумма наблюдений будет достаточно велика, когда выступившие на сцену новые элементы улягутся в общем движении жизни и найдут каждый свое, тогда, конечно, явится возможность и той цельной картины, о которой тоскует русская публика. А до сих пор литература будет в этом отношении настолько же бессильна, насколько само общество бессильно сплотить за один раз все новые стихии, которые находятся в нем в состоянии брожения».

Таким образом, язык сопряжен с судьбой страны. Недавно главенствовавшая «малая проза» — чем не отражение литературной переменной нации? Но разница между столетиями есть: если в 1861-м году Достоевский отмечал, что эпоха не доросла еще до широкого и глубокого взгляда на народ, то нынешняя общественная панорама поражает все больше и больше открытиями народного, обострением борьбы за сокровенно-русское, въедливым мужицким критицизмом письма кровью сердца, глубинно-полноценным взглядом на народ; а ведь именно в этом, «в этих взглядах, — не сомневается Достоевский, — наше всё: наше развитие, наши надежды, наша история». И чем сильнее художник, тем вернее и глубже пашет он общественное сознание, отдавая свою художническую силу истине народной.

Литературно-общественная Россия, ныне не столько «повторяющая» в гражданском смысле **сменовеховскую** ситуацию прошловековую, но и с весны 1985-й бурно охваченная знаками перемен «всерьез и надолго», — возвращается из

затяжного мрака небытия к полузабытому свету народно-этического миропорядка. Зарницы новизны высвечивают непролазные завалы навороченного в державе. Дух праведного суда воздает по заслугам плату, не щадя ни плохого «своего», и уж никак не «чужого». Последствия дьявольской гульбы повсеместны: Русь в кровоточащих ранах, идейно околдованная чужебесием, расхлябанная «великими переломами», расхлебывающая кашу — чудовищный эксперимент по вживлению «зла» в «добро», моднючий как конвергенция, патологический как transsexualism.

Боевая «акмеистическая» задача общества — очистить авгиевы конюшни соцбардака, выявить пределы мнимого единства «кривды» и «правды», предотвратив вероятие сращения этих искомых. Уже прозвучало «мычание тоски по смутно вспомненной национальной идее», подтверждающее совместимость национализма с христианской идеей всечеловечности. Дорвавшиеся до жизни не по лжи громокипящей **памятью** голосят, «возрастом» пока черно-белой контрастности деля поднебесье на «свое» и «чужое». Как в Средние Века, карают «неправильно» верующих своих альбигойцев. Градус взрывной волны дошел до степеней известных: в московских томах «Богословских трудов» 1980-х годов изобличают самих о. Павла Флоренского и Н. Ф. Федорова в их, оказывается, нерусском качестве мысли, в податливости к западным влияниям. Припомнили и графу Толстому завиральное суждение о патриотизме: как в начале века о. Иоанн Кронштадтский заклеймил толстовскую заграничность «Обращения к духовенству», так и в дни наши Валентин Распутин отверг формулу «патриотизм — это рабство».

«Эффект Толстого» позволяет начерно чуять КТО ЕСТЬ КТО. Стоило, например, Распутину заостриться на патриотизме не по-толстовски, как засинел лакмусовой бумажкой драматург Виктор Розов, гласно сетующий: мол, вот Толстой — интеллигент, до уровня «просвещенности» которого Распутину — «рабу патриотизма» — далеко. Резекцией, дюжиной ножей по слишком человеческому — лишь бы «расширить» тем самым свое сознание. До чего? Ответом на вопрошание открывается журнал «Наш современник» за 1989 год: «...До космополитизма? Да, как бы ни старались некоторые органы печати представить это определение одиозным, чуть ли не сталинским, приходится произнести: "Космополитизм". Точнее, наступление космополитизма».

Манипуляторы, паразитирующие на народном. Министр

Луначарский «тесно связал» патриотизм с милитаризмом (Запад все боится этой упряжки, спарки, сращения). Розов «разъял» патриотизм с интеллигентностью. Живучи горе-традиции «разъятий» и «увязываний» в духе вульгаризирующего Пролеткульта или китайской «культурной революции». А тем временем «сексологи пошли по Руси, сексологи!», «гигиеничное» распутство и ирония самоценного пересмешничества. «Либерально-сексуальная мораль» ополчилась против «ханжеского морализаторства», преодолевая как немодное сопротивление одежек без застежек, так и по пути всякие народные традиции, напуская на эдакие «стереотипы» бумагомарателей-критиканов, отволакивающих любителей сталинизма к массовидному идолопоклонничеству «стальному оргазму». Сексуально-революционные откровения, паразитирующие на перестройке, сулят тотальное «освобождение» общества от «догм» и «мифов» — от естественного патриотизма, нравственности, недоверия к мамоне. Девиз бунтующего лакейства тот же: «И хорошо, как бы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки...»

Освободители общества от старой «химеры совести» подсовывают вместо Сталина (идола зла) Бухарина (полюс добра), предстающий в «иконописном, либерально-гуманном облике». Дело, как видно из печати, дошло до курьезов: 6 октября 1988 года газета «Советская культура» опубликовала статью, в которой Сталин именуется Сатаной, Христом же — Бухарин, а его пребывание в Париже в 36-м году — «Гефсиманским садом», «молением о чаше». В самом названии этого панегирика — «Гибель и воскресение Николая Бухарина» — таится, как справедливо замечено, попытка аналогии с Евангелием. И это смеют писать о Бухарине — воинствующем безбожнике, цинично высказавшемся о расстрелянных царевнах! Реанимированный лжехристос, как и русофоб Троцкий («Фамилия твоя Лейбман, и черт с тобой, что ты жил за границей... Все равно в Могилеве твой дом» — бросил вызов этому всесильному тогда «гражданину из Веймара» Сергей Есенин в своей драматической поэме «Страна негодяев»), вместе с «четвертинкой» русской вождя № 1 (собственноручно сформулировавшего 58-ю статью уголовного кодекса, на которой и был, по утверждению А. И. Солженицына, основан весь сталинский ГУЛаг) — убивцы русского духа.

Под трескотню обновленческой говорильни под предлогом восстановления «правды» отечественной, из тины истории

извлекают болотных чертей, героизируя эти подмоченные авторитеты, подсовывая народу новые «иконы» взамен скомпрометировавшихся. Так, генерал-профессор Дмитрий Волкогонов, рисуя «триумфально-трагедийным» портрет Сталина, всю палитру красок, по мнению Михаила Геллера, заимствует у Троцкого. Все определения не новы: «человек для поручений», «малозаметный функционер», «политический статист», «незаметный статист», «функционер идеи». Автор «Триумфа и трагедии» настаивает на «катехизисном мышлении» Сталина, акцентируя внимание на факте, что с десяток лет юный Джугашвили получал религиозное образование, которое якобы и «способствовало формированию устойчивого догматического мышления». Фигура все та же — «дура», так «начинку» хот (религию-то!) обернуть против себя же во имя торжества «непобедимой» идеологии. Посему Волкогонов и заключает психвоенным кадансом: Сталин-де «всю жизнь верил» — сначала в христианские постулаты, а затем в марксистские. Вот почему и отдал первенство **вере**, а не **истине**. Какое жонглерство! Виноватым оказалось христианство и... Наполеон (начитался его «Мыслей»: «Именно вечером у Лоди я уверовал в себя как в необыкновенного человека и проникся честолюбием для свершения великих дел, которые до тех пор представлялись мне фантазией» — жирный отчерк на полях книжки людоедствующим «аскетом», после смерти которого «не оказалось личных вещей, кроме подшитых валенок и залатанного крестьянского тулупа»). Сусальная интерпретация, интерполяция.

Тот же Салтыков-Щедрин в «За рубежом» мудро изрек: «одному нравится арбуз, другому — свиной хрящик». Для одних, стало быть, патриотизм — нравственная народная константа, а для кого — нечто такое, чего «приличный интеллигент» должен стыдиться. При слове «нация» все вспыхивает ассоциативная параллель «пистолетно-гитлеровская»: Валентина Пикуля обзывают «подручным Малюты Скуратова и пособником Гиммлера», о чем поведал нам второй номер «Нашего современника» за 1989 же год. Подстройщики к перестройке, критики наглого реагирования, реабилитаторы подлых (чуть не сказал: подлинных) «ценностей» — разномастное бесошабашье земли многострадальной русской. И встречный вихрь наповал: это аввакумовский отпор неистовых правдоискателей проискам разноличинной бесовщины; и наше время погранично-ситуационное, напоминающее то, когда новгородский архиепископ Геннадий, страшась за устои Православия

(«жидовствующие» отрицали божественность Христа; подвергали тогда рационалистической критике церковные таинства; предпочитали Ветхий Завет Новому; московская ересь уж принялась и за монашество...), призвал паству «жечи да вешати». Не отсюда ли и экстремальный накал страстей от долготерпения в плену у лжи?! На возвращение к жизни смердящих «привидений», типа лежневской идейки о «порочности самой попытки судить о писателе с точки зрения народного духа» — адекватная заразе гасящая ее зло волна.

Усилившийся натиск отрицателей любви к родине, корневой памяти, разрушителей семьи, национального достоинства, пропаганда «добродетельного» наднационального нашли свое логическое завершение в теоретической статье советского академика Г. Шахназарова — не где-нибудь, а в «Правде» (от 15 января 1988 года), под симптоматичным заголовком: «Мировое сообщество управляемо». Рекламируемый Г. Шахназаровым «баланс интересов различных государств» странным образом не включает отечественные интересы — все под благовидным предлогом избавления от какой-то «национальной самоуверенности» и «особенно нетерпимых... попыток с шовинистических позиций пересмотреть принципиальные классовые оценки тех или иных событий». Прячась за размытое «классовое» — мнимую величину в предполагаемом серьезном разговоре о «проблеме выживания человеческого рода» — теоретик надуманного единства, попросту говоря, огрел спекулятивным «орудием пролетариата» русское, стало быть, «шовинистическое».

«Классовое» тут — тень на плетень в ясный день; ни пришей кобыле хвост. В интервью югославскому журналу «Данас» в марте 1987 года академик Т. И. Заславская ясно выразилась, что «у нас была принята теория о двух классах и прослойке в социалистическом обществе, доставшаяся нам в наследство от Сталина. Отступления от этой примитивной схемы, выдвинутой им в тридцатые годы, строго наказывались, причем и в новое время: когда в семидесятых годах Рутинянов опубликовал книгу о социальной структуре сельского населения страны, его исключили из партии, последовали дальнейшие репрессии, приведшие к тому, что человек заболел». Схему эту Заславская называет «догматической и ни коим образом не объясняющей нынешних реалий жизни». Эту чужеродную догму — «классовое» — переосмыслил национально-прагматический дух перестройки. Устарела «трехчленная формула» социаль-

но-классовой структуры общества: Заславская насчитала в обществе *одиннадцать* определяющих групп, а не *три*. Да еще и не все включила она в новую схему: «Нельзя обойти молчанием и существование в нашем обществе групп организованной преступности, объединяющих коррупированных работников аппарата управления, дельцов теневой экономики, ответственных работников торговли и бытового обслуживания, а также разложившуюся часть рабочих и служащих».

«Принципиальным классовым» мордуется Шахназаровым «националистическое самоослепление», под которым понимай буквально следующее: «в оправдательном, а то и хвалебном тоне описывать отдельные эпизоды угнетательской и захватнической политики царизма, правителей государств, вошедших в состав Российской империи». Даже за «отдельные эпизоды» национального — по зубам! Чем не собрат Ричарду Пайпсу, автору «России при старом режиме», преподносимой как вечно «на пути к полицейскому государству»! Оплевать старое, подсунуть сомнительную новизну «замены», да и стереть Россию без разбора с лика земли — все во имя «интернационального»; со страниц истории уже, кажется, стерли — «по цивилизаторской» инициативе Библиотеки Конгресса США отдел предметного каталогизирования вместо слова «Россия» употребляет «Советский Союз», которому выходит более тысячи лет от роду! Россия — СССР — русский — коммунист — "ALL THE SAME SHIT" — «империя зла» — правь, варяг, «мировым сообществом», без России.

«Мы, — если всерьез принять второапрельское заверение философа Федора Бурлацкого на третьей странице «Советской культуры» за 1987 год, — нередко плаваем без руля и ветрил в философском истолковании нового мышления на международной арене». Что и говорить — мелко плавают... На помощь ринулся новоиспеченный политолог Александр Янов, опубликовавший в двух зимних номерах московской «Международной жизни» за 1989 год статью «Новое мышление и американский "брежневизм"», где скулит тоска по «мировому правительству». Старая парадигма (комплекс исходных утверждений, принимаемых на веру как аксиомы) соперничества, в нынешнем виде сформулированная Гансом Моргентау еще в конце 40-х годов, признаваемая Ричардом Никсоном «незыблемым законом национального характера» («никсоновские джунгли» в лексиконе А. Янова), — жупел страхолюдный. Все пугающий Запад «русской идеей» черносотенного

национализма помогает на сей раз «открыть Америку»: «спасаясь, — глаголит он, — от перестройки, "брежневизм" пересек океан и прописался в сегодняшней Америке». «Политический реализм» Збигнева Бжезинского, выражающийся в признании неискоренимого глубокого американо-советского антагонизма и в плане этой «бесконечной игры» устанавливающий геостратегические рамки для ведения соперничества между США и СССР, «ВЫЗЫВАЮЩЕ ВНЕИСТОРИЧЕН» для Янова, «демистификатора» политического процесса в России. Борясь из-за океана с «культурным параличом» страны, громогласно пекущийся о «национальной безопасности СССР», силится воздействоавть на публику «силой положительного примера» привязывания симпатий и долларов к неомессианству — «мировому правительству».

Конечно, ядерный мир — грозный императив современного бытия. И если бы Янов не подбивал к «мировому правительству», то выглядел бы чем не просветитель Гроций (1625 г.), призывавший христиан разрешать споры, грозящие войной, на специальных межгосударственных собраниях. И философ Кант полагал, что военные конфликты можно потушить созданием «стабильного равновесия». И зазыв поубавить оружие исторически понятен: так, на церковном соборе 1215 года прозвучал призыв к запрету арбалетов; в разгар наполеоновских войн обсуждался вопрос о запрете картечи; Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов запретили «сбрасывание с самолетов смертоносных предметов и бомбардировку городов»; еще в 1930 году Лига Наций постановила уничтожить все запасы химического и бактериологического оружия... (но воз и ныне там). Но логика яновской «парадигмы сотрудничества», связывания несоединимого одной веревкой душит «во имя сохранения мира» национальное. Горбачевская метафора (в современных условиях народы мира «подобны связке альпинистов на горном склоне. Они могут либо вместе взбираться дальше, к вершине, либо вместе сорваться в пропасть») не лишает страны мировоззренческого своеобразия. И «Красная звезда» от 22 мая 1987 года о том же: «...как нельзя аплодировать одной ладонью, так и нельзя создать безъядерный мир только односторонними усилиями... К сожалению, допускаются утверждения... что мира не будет до тех пор, пока "каждая общественная система будет настаивать на своих излюбленных идеях. То есть *фактически возможность сохранения мира обусловливается отказом от своих*

идеалов и духовных ценностей. Недопустимость такого подхода очевидна... Трудно понять автора, который пишет что нужна 'обшая мировоззренческая почва' для строительства демилитаризованного мира. Мировоззрения двух миров останутся разными". Что и требовалось доказать. Конечно же, разность миров вовсе не исключает возможности найти общий язык для выработки единого взгляда на ядерную войну как недопустимое средство политики. Логичен баланс сил и для «этического социализма», и для казарменного коммунизма, и для махрового капитализма: хочешь жить — умей вертеться. Так что оставим творца идеи «Соединенные Штаты не могут допустить провала перестройки в Советском Союзе, поскольку это означало бы катастрофу и для них...» у разбитого корыта иллюзий — «...до тех пор, покуда не появится мировое правительство». Пусть он идет или возвращается «Вперед, к Марксу! (так именно называется статья некоего А. Наумова в 11-м номере журнала «Мировая экономика и международные отношения» за 1988 год) восстанавливать закон единства и борьбы противоположностей, как бы разделенный при усатом вожде на две половинки: «единство» — социализму, «противоречия» — капитализму. Да, Русь выстрадала «новое мышление», призванное ликвидировать разрыв между политической практикой и общечеловеческими морально-этическими нормами. Но при чем здесь масоновидная затея мирового масштаба?!

И вообще, «наука управлять» — бухаринский недоносок, особливо понравившийся Ленину сочненьким местечком: «Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как ни парадоксально это звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи». Вот они истоки заразы переработки человечины. Не на XXVII съезде, товарищ Федор Бурлацкий, «был восстановлен именно диалектический метод», а вот этой убийственной приведенной В. Селюниным в 5-м номере «Нового мира» за прошлый год цитатой: психология марксизма н е и з м е н н о людоедская, ибо человек в нем низведен до «колесика-винтика».

Слава Богу, кажется скончалась на наших глазах проклятая культовая триада: мировая революция («мировой пожар раздуем...»), классовая борьба («неизбежность обострения классовой борьбы по мере развития социалистического общества»), тартюфство-опискинство в лице

сталинизма (даже «негений» Евтушенко успел повосхищаться человечностью усатика жирнопальцевого). Бой дают антинациональному хулиганству, типа алтузенских кукишных виршей глумления над русской историей, над именами Минина и Пожарского, над матушкой Русью: «подумаешь, они спасли Расею! А может, было б лучше не спасать?!».

Русский человек, как шукшинский Алеша Бесконвойный, неуправляем и сам-то по себе, а тут еще подгоняет в болото всеобщной принудиловки интеркосмополитус. Да, русский «всемирно отзывчив», по-христиански «всечеловечен», но не есть тургеневско-западнический вариант «общечеловека», отнюдь не какая-то там европейская «обшмыга» (фразеология Достоевского), хотя, понятно, в семье не без урода: есть свои в каждой нации Смердяковы и Потугины. Кстати сказать, о различии между «общечеловеческим» и «всечеловеческим» есть у Н. Я. Данилевского в статье «Отношение народного к общечеловеческому». Так что дилемма стара как мир: будь «неповторимо» национальным, или «обшмыгой» духовной bisexual' ной «мирового концерта». Что касается эдакого «концертирования», то фразочку эту упомянутый член-корреспондент АН СССР Г. Шахназаров мог подглядеть у того же М. Е. Салтыкова-Щедрина в «За рубежом». Вот оттуда три примера: «Вообще француз-буржуа как нельзя больше доволен, что он занял "надлежащее" место в *концерте европейских держав* и не нарадуется на своих дипломатов»; «он, Твэрдоонто́, предназначен судьбою петь в *концерте европейских держав...»; «...сам Бисмарк, в интимном разговоре с Подхалимовым, нашел Францию достойною участвовать в концерте европейских держав»*. Но ведь наш сатирик подтрунивает над тем, что советский академик в качестве теоретической сенсации в обществоведении выдает народу! Вот вам и общий европейский дом мирового управляемого сообщества — старый муравейник «нового мышления».

Русь не знала схоластики, зато терзалась страхом перед антихристовой подделкой истины. Даже апостол любви Иоанн Богослов заповедует не принимать у себя дома еретиканствующих «инакомыслящих», даже запрещает приветствовать их (2 Иоан.10), а святой апостол Павел очень даже не советует разделять с такими трапезу (I Кор. 5,II). Ужели апостолы Христовы забыли учение Христа о всепрощении и любви? Нет. «Всепрощение» в делах веры состоится при условии покаяния, отречения от своих заблуждений, от своего безверия под маской «инаковерия»:

иначе сколько бы ни «прощали» — Бог не простит! Не приторное любезничанье и лобызание с лжеучителями, не «всепрощение» к убийцам духа и душ завещали отцы Православия. Епископ Никон в «Церковных Ведомостях» за 12 января 1913 года вскрыл опасность «заразы масонством, безразличием к истинам веры, какое стало в последние годы господствоать в некоторых интеллигентных кругах нашего общества». «Я, — продолжает священник, — произнес слово "масонство". Да, слава Богу, теперь сорвана уже маска с этого векового врага Христовой истины. Мы кое-что знаем из его планов, намерений, знаем, что его цель уничтожение христианства на земле, превращение всего человечества в скотов, пригодных только на служение масонам, вернее сказать иудеям, которые, как это уже давно известно, считают всех людей за скотов без души человеческой, скотов, коим дал Бог только облик человеческий, дабы иудеям не противно было пользоваться этими скотами. Это — не клевета на иудеев: это буквально читается в их талмудических сочинениях. Этой цели, конечно, препятствует христианство, а из всех христианских исповеданий православие — самое чистое учение христианское, а потому и самое ненавистное для иудеев. И вот пущены в ход все лжеухищрения, все софизмы, все клеветы против православия, привлечены к сотрудничеству в разрушении православия все секты, все ереси, все безбожные учения, чтобы пошатнуть этот столп истины Христовой. А поелику сразу в безбожие не обратишь православного человека, то сначала его стараются совратить в какую-нибудь секту, вроде штунды, баптизма, молоканства, затем идут: спиритизм, оккультизм, буддизм и, наконец, уже прямое безбожие... Так вот кому служат наши полуинтеллигенты всех рангов, полов и состояний, проповедующие безразличие в исповедании христианства: в конце концов они служат масонам и жидам!».

Конечно же, и среди евреев, как в любой нации, есть всякие, даже антисионистские комитетчики, но, как говорится, нет дыма без огня. Любопытно место одно из «Писем русского офицера» Федора Глинки. В подглавке «Наполеон, обманутый в мечтах своих» находим: «...Уже язык французский слышен стал во всех пределах и во всех состояниях России; уже вместе с ним водворились повсюду обычаи и нравы французские, вредной роскошью и развратом сопровождаемые. Французы взяли полный верх над умами; для них отворялись палаты и сердца дворянства. Французам вверено было драгоценнейшее сокровище в

государстве — *воспитание юношества.* И французы, обращая все сие во зло для нас, извлекали из всего возможнейшую пользу для себя. Наполеон не прежде решился идти на Россию, пока не имел там тысячи *глаз,* вместо него смотревших; тысячи *уст,* наполнявших ее молвой о славе, непобедимости и мудрости его; тысячи *ушей,* подслушивавших за него в палатах, дворцах, в домашних разговорах, в кругу семейственных и на площадях народных. Таким-то образом, ПОДРЫВАЯ КОРЕННЫЕ СВОЙСТВА НАРОДА, ЗАРАЖАЯ НРАВЫ, ОСЛЕПЛЯЯ УМЫ, СОБЛАЗНЯЯ СЕРДЦА ЛЕСТЬЮ И ЗОЛОТОМ, ОДЕРЖИВАЛ ОН ЗАРАНЕЕ ПОБЕДЫ В СЕЙ ТАЙНОЙ, НО ВСЕХ ДРУГИХ ОПАСНЕЙШЕЙ ВОЙНЕ...». Знатный образчик психологической войны «бездымной». Пренебрежение духом народным стоило французам поражения в войне 1812 года. Были спасены тогда свобода, алтари, престол и древние права русские.

Пробуждение русского национального самосознания и в наши дни натыкается на т у ж е проблематику. Синонимируются понятия «русское возрождение» — «шовинизм» — «антисемитизм» — «фашизм». Д. Д. Васильев из патриотического общества «Память» в мюнхенском интервью Владимиру Титову вынужден протестовать открыто: «Везде нас называют антисемитами, хотя ни одного заявления никогда и нигде против еврейского народа мы не делали и делать не собираемся. Почему? Потому что среди евреев тоже есть порядочные люди, так же как среди любого народа есть порядочные сволочи...».

«Волк в овечьей шкуре»? «Свежо предание, а верится с трудом»? «Обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду»? Но хватит фольклорить. Все было в русской истории, как и напраслины хоть отбавляй. Как трудно доказать, что «ты не верблюд», так и русскому — отбиться от «антисемитской» ассоциации, пыльным шлейфом тащащейся за ним повсюду. А реальность статистически такова, как сказано в «Правде» от 2 октября 1985 года: еврейское население в СССР, составляя 0,69 процента от всех жителей страны, представлено в политической и культурной жизни державы в масштабах не менее 10-20 процентов, а стало быть, роль евреев в политике и культуре раз в 15 (если не в 30) превышает их долю в народонаселении. Выходит, «дискриминация» наоборот (как на юге США, боясь обвинений в расизме, не приняли в университет даровитого белого, предпочтя ему никудышного кандидата, зато черного).

Беда: повелось считать почти всю и русскую литературу «антисемитской». Так, в 1923 году Д. Заславский опубликовал специальное исследование («Евреи в русской литературе»), в котором даже молчание на тему о евреях квалифицировал как этически криминальное: «Вряд ли можно сомневаться в том, что Толстой не любил евреев, питал к ним враждебное чувство и *именно поэтому избегал говорить о них*». «Традиция такого молчания, — делает вывод Заславский, — прочно укоренилась в русской художественной литературе». В 1934 году А. Лежнев в своей книжке «Два поэта. Гейне. Тютчев» заклеймил как «антисемитов» Герцена, Ап. Григорьева и Блока на том только основании, что они «позволили себе» критически отозваться о Гейне: не как о немецком еврее, а о поэте. Нынешние борцы со скрытым и иной разновидности «антисемитизмом» избрали для себя мишенью лучших русских писателей: Распутина, Белова, Астафьева... И «деревенщикам» («деревенщине» — если глянуть из оконца кривого *неопарадигмы)* ничего не остается, как ветхозаветным иудеям, лихо отбиваться с беззвучным возгласом не «бей жидов» (как многим кажется), а по-язычески: «око за око», хотя усопшая намедни тетушка женки Астафьева и поучала своего Виктора Петровича, за почерк которого война виновата: «Не отвечай на зло злом, оно и не прибавится...». Трудно, видать, понять русскую мудрость гастролеру по Франциям Н. Я. Эйдельману (ныне покойному, — Е. В.), 1 июня 1988 года прочитавшему в Сорбонне лекцию о «перестройках» в России, сведя несводимое опять к чертову «диалектическому единству», выражающемуся в его словах: «....на Западе образуется система — рынок плюс демократия... а в России создается система — барищна плюс деспотизм». Вот такие историки объясняют Западу «проблемы и загадки политической истории России» и становятся профессорами политических наук в Нью-Йоркском университете. Не понять Эйдельману эдельвейсовой высоты народной пословицы: «Не напоивши, не накормивши, добра не сделавши — врага не наживешь». Зияющие высоты дезинформации тотальной.

История многопримерна. Так, Чехов написал в 1897 году: «Такие писатели, как Н. С. Лесков и С. В. Максимов, не могут иметь у нашей критики успеха, так как наши критики почти все — евреи, не знающие, чуждые русской коренной жизни, ее духа, ее форм, ее юмора, совершенно непонятного для них, и видящие в русском человеке ни больше, ни меньше как скучного инородца». Антисемитское

непонятного для них, и видящие в русском человеке ни больше, ни меньше как скучного инородца». Антисемитское высказывание? Нет, отвечает Вадим Кожинов: «Чехов говорит просто о прискорбном факте, в котором выражается даже не столько в и н а, сколько б е д а людей, возжелавших стать критиками без должного проникновения в жизнь, вдохновившую оцениваемую ими литературу. И конечно, никакого антисемитизма — то есть враждебного отношения к евреям как таковым — в высказывании Чехова нет. Он говорит только об определенном печальном явлении в мире тогдашней литературы...». Многое, как видно, зависит от угла зрения, точки зрения на факт. Но что засело в костях, того из мяса не выколотишь. Как, впрочем, верно и другое: что одному впрок, то другому отрава. Чужое горе, с другой стороны, не болит, так что штопай дырку, пока невелика.

Русская идея изнасилована многократно: сейчас она казенно вывернута — «националистическим» фигом в рыло цивилизации. Еще малому народу куда ни шло: пущай имеют свой национализмик, а русским — ни за что. Порой рта не дают открыть. Вот чаще и з а и к а ю т с я только о патриотизме как сознании народа. Стоило Толстому наших дней — Валентину Распутину — упомянуть недавно об идеалах отцов, как тут же разыгралось притворное недоумение в 36 номере «Огонька» моднючего за 1988 год: «Идеалы отцов — это что? Христианство или язычество? Или, может быть, крепостнические? Или социалистические идеалы?.. Чьи идеалы конкретно? Идеалы сталинизма... или идеалы Вавилова и Чаянова?». Вот они последствия духовной безотцовщины («Все мы ищем отца»), выхолащивание нравственности, обернувшееся ампутацией совести, не говоря уже о забвении библейской заповеди нравственной русской нормы: ЧТИ ОТЦА СВОЕГО. Сатанизм прикидывается «дурачком», когда ларчик элементарно просто открывается. «Крепостничество», «сталинизм» — не пришей кобыле хвост. Наталья Иванова глумится над святым чувством и понятием для русского православного сознания. Веет холодком тихого ужаса как из «Бесов» Достоевского. Атеизм сердца иссушает источники любви к ближнему, подменяя любовь к Человеку масонообразной триадой: «диалектическим единством» свободы-равенства- братства. «Якобинство» в действии, или здравствуйте товарищ скончавшийся в Париже без четырех годин сто лет тому назад Петр Никитич Ткачев, у которого «люди будущего» не лучше писаревских «мыслящих реалистов». Ваши

«нравственные правила» — долой отвлеченную мораль и справедливость — восприняты с о г о н ь к о м. Вот эта поучительная логика поведения: «Нравственные правила установлены для пользы общежития и потому соблюдение их обязательно для каждого. Но нравтсвенное правило, как все житейское, имеет характер относительный и важность его определяется важностью того интереса, для охраны которого оно создано... Не все нравственные правила равны между собою» и притом «не только различные правила могут быть различны по своей важности, но даже важность одного и того же правила, в различных случаях его применения, может видоизменяться до бесконечности». При столкновении нравственных правил неодинаковой важности и социальной полезности не колеблясь следует отдать предпочтение более важному перед менее важным... За каждым человеком должно быть признано «право относиться к предписаниям нравственного закона, при каждом частном случае его применения, не ДОГМАТИЧЕСКИ, а КРИТИЧЕСКИ»; иначе «наша мораль ничем не будет отличаться от морали фарисеев, восставших на Учителя за то, что он в день субботний занимался врачеванием больных и поучением народа» («Дело», 1868, № 3). Комментарии, как говорится, излишни.

Мерзавцы «нового мышления» под благовидным предлогом борьбы с «перегибами» национальной гордости великоросов силятся лишить народ естественного самоуважения, закомплексовать национальное самосознание, неустанно твердя об «отлученности» России от мировой истории и о прямой преемственности злых начал в судьбе страны, каким-то образом умудрившейся еще до родов национально неповторимого, начать «вырождаться». Но все ж, как сказано в «Иване Денисовиче», Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьешь. И по примеру царя Давида изгоняют поносящих все отечественное клеветников вон. Прочь чуждое бездушное законничество. Ведь, по Солженицыну, традиционное древнерусское понятие П Р А В Д Ы — как справедливости высшей, не юридической, а *онтологической*, от Бога. Общественным идеалом считалось жить праведно, жить моральным уровнем выше, чем всякие возможные требования законов. Но люди забыли Бога.

Если во имя Отца и Истины Валентин Распутин укорил Льва Толстого, избавив тем самым правду от «бесконфликтного» елея наоборотной клеветы, то почему бы и нам, следуя пророчеству Салтыкова-Щедрина, не «сделать частное

наблюдение» — попробовать и Александра Сергеевича Пушкина извлечь из топи слюнявой лжепочитателей, избавив по заслугам память о нем от этих прилипших ракушек, образующих усердным холуйством приобщения или попросту непониманием поэта загробную недобрую тяжесть? Вот и решил пустить по свету из США книжицу о двух ручейках в русское национальное самосознание, под неброским заголовком «1812 год у Пушкина и Загоскина». А то ведь чего только не нагородили: Пушкин-де и «апостол православия», и «лидер дальновиднейшей политической партии», и «певец гармонических начал аракчеевского и николаевского порядка»... Прямо как массовое помешательство на Гегеле в прошлом веке, когда гегельянские категории прилагались без всякой трансформации... даже к барышням! Так, например, Бакунин, не боясь комического эффекта от непосредственного применения Гегеля к дамам, заклинает сестру Варвару разойтись с мужем — во имя **истинной жизни и абсолюта!** Однако не лучше ли, как выразился не обо мне Экклезиаст, слушать обличение от мудреца, нежели хвалы от безумца?

Пушкин представляется этически двойственным; в житейской «тактике» — нередко двуличным, или с двойным дном соображений. Может быть, виной тому вообще, как полагал Мандельштам, «двуполая» природа поэта как такового, ставящего себя на место то мужчины, то женщины (а если разом?!)? Порой и винить его трудно: Татьяна Ларина, сетует, «сама сбежала» из замышляемой сочинителем участи героини. Эманации — флюиды — биотоки — «духи» исходят в самостоятельное существование, как только покинут обитель творения. Так, Герцен считал Гоголя «бессознательным революционером» (не путать со скрытно-невидимым «антисемитом») — мог т а к влиять на других, не хотя того. Константин Леонтьев, мрачный «византизм» коего покоится не на любви к ближнему, а на страхе перед Богом (на этом основании «сентиментальное и розовое» христианство Достоевского «еретично»?), — всерьез уверовал в сообщаемость духов, придав герценовской мысли исторический фон: «Сначала Гоголь приемами, а революционеры позднее и настроением точно будто атрофировали, заморозили нас, подстригли нам крылья». (Вот и потенция Гоголя втянута во всеобщую вину невольного способствования распаду ядра нравственности!) В Леонтьеве вера есть. В последнем номере «Вопросов литературы» за 1988 год сказано, что он с чуткостью сейсмографа прозревал «духов русской революции»

(терминология Николая Бердяева) в **энергии стиля** Гоголя, Достоевского, Толстого. Приемы он чувствовал как энергии, чреватые историческим действием, остро чувствовал эту собаку, зарытую в стиле, психологию формы. А форма, по Леонтьеву, — «деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет...».

По аналогии с этой «естественной» морфологией значение формы можно распространить на политические и культурные «организмы». Как только внутренняя идея перестает крепко держать общественный материал и тем самым ограничивать его центробежную устремленность, — «материя разбегается», ослабляя и способствуя распаду государственной формы: «материя» в послании-изгнании или внутренне «диссидентствующая» (перманентное «вечное» диссидентство — душевная болезнь страдающего «оригинала»). А русская словесность, тут как тут, сопереживает судьбину страны соответственно эквивалентно: мельчает тематика, безбожная ирония беспечного скалозубства в годину родных бед, детализация выпячиваемых вместо главного умалчиваемого мелочей при грошовой-то проблематике надуманной конфликтности, эмансипация всяческих (преимущественно пикантных) подробностей. «Наворочено подробностей» — ворчал Леонтьев о раннем Толстом. Пушкин в этом смысле в основном упрочил дух «мелюзги», что не помешало ему стоять у истоков русского национального самосознания.

Как Пушкин амбивалентен сам в оценках окружающих (Анна Керн: и «Я помню чудное мгновенье...», и «вавилонская блудница»), так и мир к нему. Одни ему не прощают социальный индифферентизм (социально-политическое «убожество»), другие — раздвоение личности (единовременные взаимоисключающие оценочные суждения). Достоевский им преувеличенно восхищался — Толстой преуменьшенно недоумевал: решая для себя вопрос «что такое искусство», понять не мог, за что Пушкину в 1880-х годах воздвигли в Москве памятник. Кто, одним словом, до небес превозносит («Пушкин — наше всё»), а кто — ни в грош не ставит (Писарев, Синявский). Вот и попробуй тут уточни границы «чужого» казавшегося веками «своим». Для кого Толстой смахивает на «зеркало русской революции», а для Владимира Соловьева — «яко язычник и мытарь». Для одних Троцкий — солнце «перестроечников», а для отца соцреализма Пешкова-Горького 1924 года — «наиболее чужой человек русскому народу и русской истории», чем и

объясняется зловещая роль этой «политпроститутки» в антирусской по духу революции. История — капризуля: то дифирамбы поет, то из мавзолея вон вонь. Вот, к примеру, формально-логическя параллель непересекающихся «прямых» (не сущностная, избави Боже!).

Гоголь о Пушкине: «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более называться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, *единственное явление русского духа:* это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».

А вот сборная хвала Сталину: «Он был выдающейся личностью, импонирующей нашему жестокому времени... человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой силы воли, резким, жестким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить... В его произведениях звучала исполинская сила. Эта сила настолько велика в Сталине, что казался он неповторимым среди руководителей всех времен и народов... Его влияние на людей неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, вставали. И странное дело — держали руки по швам. Сталин обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и осмысленной мудростью...» (Черчилль). Не забудем, что первую «оду» Сталину выдал Борис Пастернак. Тончайший стилист Исаак Бабель на Первом съезде писателей призвал учиться у Сталина даже работе над словом! Панегирически отозвался о его талантах и языковед Ромка Якобсон. Хвала как дрожжи взрастила идею раскольниковскую о всепозволительности: переступил рубикон «слишком человеческого» по горячей «просьбе трудящихся».

Словеса словес. Хула исторически пожизненна: от прижизненной до абрамо-терцовой «Прогулки с Пушкиным» и «Пушкинского дома» Андрея Битова (для Мишатьева Пушкин — всего лишь «черный семит»). Испортил всю музыку пушкинской славе 162-й номер «Северной пчелы» за

1836 год: «Мечты и вдохновения свои он погасил срочными статьями и журнальною полемикою, князь мысли стал рабом толпы; орел спустился с облаков для того, чтобы крылом своим ворочать тяжелые колеса мельницы!». Пришлось тогда В. Ф. Одоевскому отстаивать честь пушкинской музы специальной статьей под названием «О нападениях петербургских журналов на русского поэта Пушкина». Кстати сказать, возвращаясь к нашим баранам, в гонениях на русский талант Одоевский обвинил «инородцев», в частности поляков: «...хвастливую заносчивость поляков, захвативших тогда в руки почти все журналы и пользовавшихся особым покровительством, несмотря на всеобщее негодование...»; «прямо доказывалось, что козаки были не что иное, как холопы польской шляхты, и это при неимоверной строгости во всех других отношениях, спокойно пропускалось. Вообще эта эпоха невежественного и вредного польского диктаторства в нашей литературе и журналистике, ныне едва понятная, весьма любопытна и поучительна». «Поляки крепко стояли друг за друга. Вновь появившаяся в недавнее время странная мысль о превосходстве какого-то польского шляхетского просвещения над русским постоянно проводилась уже тогда в разных видах... *чернить все русское*, и в особенности писателей, не принадлежащих к польской партии. Недаром поляков воспитывали иезуиты. Дерзость и ослепление простирались до того, что было предпринято издание н о в о г о словаря русского языка, где вводились в примеры полонизмы и варвризмы Сенковского...» И через 153 года, отстаивая честь собственного имени, изобличитель «нечистой силы» земли русской писатель Валентин Пикуль в диалоге с критиком Сергеем Журавлевым вынужден все надеяться, что «...наверху опомнятся и поймут, куда идет страна, в которой весь идеологический фронт отдан на откуп...». И далее следует весьма прозрачное «и т.д., и т.п.». Паранойся человека дошедшего до «последней черты»?

В сосуде пушкинской славы скопилось много желчи, слабоумия и коварства. Не к русскому двору пришлось и пушкинское масонство: 4 мая 1821 года он был принят в масонскую кишиневскую ложу, в ту самую, за которую уничтожили в России одно время все ложи. Дело, конечно, не только в этом. Ведь и Петр Великий не избежал таковой участи. И вообще, не главное ли, чтоб разделять установку «жила бы страна родная»? Пушкинское либерально-боярско-масонское сознание являло собой какую-то облегченно-благочестивую смесь красот и безобразий, да еще и

атеизм страстей роковых туда же. Гремучая смесь, как белый взрывчатый порошок из ацетона, перекиси водорода и соляной кислоты, носил он в себе постоянным дуэльным вызовом миру державному. Пушкин, свесившись над пропастью, силился разглядеть, что по ту сторону. Его оппонент по «Рославлеву» — Михаил Николаевич Загоскин — являл собой этическую противоположность, будучи «нормальным» православным, «с Богом и догматами» (церковными догматами).

Кстати, В. Тендряков в журнале «Наука и религия» за 1987 год продемонстрировал некую отпетую псевдорелигию «Без бога и без догм». Религия — «опиум», стародавние зады Агитпропа, как аргумент «а у вас негров угнетают». Для сугубо «просвещенных» ныне религия — признак «отсталости» (от чего? куда? «прогрессисты»). Безбожное знание, полагаю, разнит и разводит восвояси к своим «полюсам» Сахарова (от Бога) и Солженицына (с Богом). Наш поэт Божьей милостью не ведал «догм» и редко — Бога. Перед «относительностью» Эйнштейна Пушкин прав, а Загоскин — перед Богом. Как известно, творец теории относительности различал три стадии религиозного чувства: первобытную (страх перед непознанным); «более развитую» — когда религиозное чувство составляет основу моральных норм (именно на этом и стоит Загоскин, не «развиваясь» в «просвещенца»-модернягу-стилягу; для физика же Е. Л. Фейберга, как и вообще для «прогрессиста», эта «фаза» теряет свое значение по мере развития общества «как совокупности сознательных и развитых личностей»); и, наконец, некое «космическое религиозное чувство», «не ведающее, — как думает науко-религия, — ни догм, ни бога». Не Богу свечка и не черту кочерга. Если для Соловьева вера превышает силу фактических и формально-логических доказательств, являясь и без того «фактом первоначальным», то для Эйнштейна вера — бессмыслица прикладного «назначения» целевой установки «результат-знания». Забыли Бога: «Где Дух Господен — там свобода» (2 Кор. 3,17). Опасна свобода без Креста. Уже в 1790-м году И. В. Лопухин догадывался, что «дух ложного свободолюбия сокрушит многие в Европе страны...» — такими казались ему «планы новомодной философии». И впрямь: на глазах Карамзина старое заветное «разрушалось в самом основании», судя по Переписке Мелидора с Филаретом (1795). Сгущались тучи над русской самобытностью, и в 1808 году, кажется впервые, в «Русском Вестнике» настойчиво призвали, чтоб противодействовать

разрушительной новизне, — н а з а д, к основам жизни предков, ибо «просвещение без чистой нравственности и утончение ума без обогащения сердца есть злейшая язва». После 1812 года, когда с помощью французов была доказана историческая состоятельность русской нации, М. Н. Загоскин, при поднесении романа своего «Искуситель» князю Михаилу Павловичу (1838), явил собой полную готовность дать России «надлежащее направление», считая своим святым долгом христианина и гражданина «бороться с новыми идеями, — как верно он учуял, — ... разрушающими порядок, повиновение к властям, к закону, — идеями, которые *восстают против всякого верования*, против всего, что священно для христианина». Прямо конец света сверкнул зловещим знамением уже тогда, как сбывалось пророчество Августина о поляризации крайностей — нарастании добра и зла к концу истории. Вслед за Иоанном Богословом, Александр Солженицын и Василий Шукшин до эпохи гласности по вечно-христиански призвали людей любить друг друга, добро творить. Не какое-то там «добро и зло приемля равнодушно...».

По леволиберальному современному сознанию прошлась Нина Андреева в «Советской России» за 13 марта 1988 года — зов «назад» перестроиться, чтоб не спешить — людей смешить. Она не может поступаться принципами и смело обличает «леволибералов», улавливая в них «явную или замаскированную космополитическую тенденцию, некий безнациональный "интернационализм"». И получается, что тот же Троцкий — «не еврей, а интернационалист»: для него понятие национального означало некую неполноценность и ограниченность в сравнениии с интернациональным. И потому он подчеркивал «национальную традицию» Октября, сваливая эту вторую ломку после бесславного конца Перуна на самих русских, у которых «никакого культурного наследства». Ложь бесстыдная. Сошлемся на свидетельство самого Ленина. В разговоре с Диамантштейном, комиссаром по еврейским делам при Комиссариате по делам национальностей, Ленин сказал: «Большое значение для революции имело то обстоятельство, что за годы войны в русских городах осело много еврейских интеллигентов. Они ликвидировали тот всеобщий саботаж, на который мы натолкнулись после Октябрьской революции... Еврейские элементы были мобилизованы против саботажа и тем спасли революцию в тяжелую минуту. Нам удалось овладеть государственным аппаратом исключительно благодаря этому запасу разумной и грамотной рабочей силы. Мы имеем в

данном случае яркий пример действия особой социологической закономерности, которой подчинены перемены в экономической и социальной структуре, рассеянного среди других народов, этнического меньшинства...» (Киржиц, «Еврейский рабочий». Москва, 1926, с. 236). Слова эти цитировал также и Соломон Гольдельман в «Юдише Галутвиртшафт», Прага, 1934—35, и Е. Валин в своей статье «В какой мере "русский коммунизм" — не русский».

Мало отечественных свидетельств — еще. 5-го марта 1919 года английская газета «Лондон Таймс» сообщила, что 75% большевиков, занимающих должности в административном аппарате СССР, еврейского происхождения. В Протоколах 439-м и 469-м 65-й сессии Сената США записано, что «...в 1918 году правительственный аппарат в Петрограде состоял из 16 русских и 371 еврея, причем из последнего числа 265 евреев прибыли из Нью-Йорка». Тут есть над чем призадуматься, припомнить левокрылую крылатость: «наплевать на Россию». Вот почему и нужно издать в с е г о Солженицына, чтобы не делать из Сталина козла отпущения... Но русский национальный организм успешно вырабатывает идеологические антитела. «Диалектика, — считает Е. Валин, — убеждает, что маятник истории, качнувшись в одну сторону, рано или поздно отмахнется в другую, противоположную, хотя плоскость колебаний его все время будет изменяться: полных реставраций прошедшего не бывает. Явление русского коммунизма нам представляется "синекдохически", следующим образом. В общем здоровому человеку во время случайной болезни привили в виде эксперимента новой породы вирус, против которого у пациента не было иммунитета. Характерными симптомами после прививки были: временная потеря памяти и рассудка (как прав в своем «Слепом рыбаке» Виктор Астафьев. — Е. В.), припадки исступления, невменяемость... Когда пациент пришел в себя, то оказалось, что у него парализован мозг и почти вся нервная система, тело подвержено судорогам и кровоизлияниям. Пациент — это русский народ; случайная болезнь — это изнурительная и неуспешная мировая война, новый вид вируса — западные социалистические лозунги и идеи под общим названием "диамата" (марксизма); буйные симптомы — кровавая революционная свистопляска под крики "бей буржуев", "грабь награбленное" (кстати, последний — лозунг Брюнского, 14 век. — Е. В.); судороги — "чистки", "волны" и "потоки"; кровоизлияния — беспощадный и необъятный в цифрах геноцид...»

Кстати, по-моему, дух перестройки, кажись, точно тянется не к Марксу, а уж коли без «отцов» портретно-трибунных никак, — то к Фихте, Шеллингу, Гегелю. И вот почему: «идеалистическая диалектика» как раз, в аккурат развитие-то общества, как говорили, «сводит» к развитию духа, мышления. Вот вам и НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ. А «диалектика материалистическая», являясь прямой противоположностью всякому идеализму (в том числе и евонной «диалектике»), конечно, не «искажает», не «мистифицирует» понятие развития, а просто... не дает ему осуществляться! Не так ли? Так что в наши дни, «диалектики» схлеснувшись, вернулись к первосмыслу греческому: «вести полемику». И мы последуем от Маркса подальше, хотя бы к Гегелю, подарившему марксизму идею диалектического развития. Но ведь у него «противоположности» повоевав меж собой, в процессе борьбы как бы убеждаются в необходимости и возможности взаимопроникать друг друга, вплоть до абсолютного тождества — тогда борьба их угасает, ибо каждая из противоположностей отдает себя другой, а эту другую впитывает в себя. Конвергенция мыслей, а не «вечный бой» классовых антагонистических противоречий.

А пока суд да дело, потрепетал над Ленинградом традиционный трехцветный русский флаг (израильская газета «Маарив» от 13 окт. 88, с. 5). Наблюдается в стране преодоление зримых последствий «недозрелого» социализма. И «неолибералы», видящие в стране сплошные исторические «ушибы и огорчения», «лишь одни ошибки и преступления», ориентирующиеся все на Запад, и «охранители-традиционалисты» из «альтернативной башни» (выражение Проханова символистское), «черносотенцы», которые, оказывается, благословляли «**всякое племя** на жизнь вольную и развитие самобытное», — образуют фланги национального фронта. Перестройка того и гляди обернется перестрелкой. Не случайно в военной политической академии недавно прозвучал вопрос: если перестройка потребует вооруженного вмешательства, на чьей стороне окажется армия?

Конечно, критику надлежит ходить перед неисчерпаемым искусством «с непокрытой головой». И прав В. Одоевский в утверждении: «Собирать ошибки, заблуждения поэта есть византийский педантизм». Надо приступать к нему с сердцем девственным, не мудрствуя лукаво. Не дерзайте, заклинал он, спрашивать у поэта, почему он так сделал, а не иначе. Спросите об этом лучше у себя самого, и если можете ответить на сей вопрос, то благодарите Бога, что

Он открыл вам важную тайну своего творения. Все верно. Но грешно оставлять затуманенным портрет Первопоэта, с которого самое время стирает пыль пустохвалы, обнажая некачественный хрестоматийный глянец. «Уши лопнули от вопля: "Перед Пушкиным во фрунт!"» — уместно подметила Марина Цветаева. Нечего силиться представить его «славянофилом» (кажись, согрешил в этом Достоевский) русопятым. Слышу предупреждение Маяковского:

Бойтесь пушкинистов.
Старомозгий Плюшкин,
перышко держа,
полезет
с перержавленным.
— Тоже, мол,
у лефов
появился
Пушкин.
Вот арап!
А состязается —
с Державиным...

Однако, с другой стороны, не следует нарушать и русского обычая, о котором напомнил нам недавно Сергей Аверинцев: «Одно из свойств русской жизни — неистребимая наша привычка то с надсадой, то с ораторским напором, и в обоих случаях с опасной для истины размашистостью, говорить и писать о нашей собственной традиции либо "за", либо "против": разносно или апологетически. Западнически-славянофильское судоговорение, раз начавшись, никак не может остановиться, прокуроры и адвокаты все сменяют друг друга...» («Новый мир», 1989, № 1).

Не избежать субъективизма определенного пристрастия при произнесении суждения. Только пушкинский дьяк «спокойно зрит на правых и виновных, *добру и злу внимая равнодушно*, не ведая ни жалости, ни гнева». Даже Бог долготерпящий — «больно бьет». Поэтому совет Аверинцева говорить просто «о» трудновыполним. Пусть Загоскина повыпячиваю «за счет Пушкина» — не убудет. Зато нелишний раз утвердится русскость, без вины виноватая, часто незаслуженно навлекающая укоры и нуждающаяся в спецоправданиях. Не будучи глубоко духовно русским, вообще национальным, нельзя стать «мировым».

Вот в книге у меня о «Двух Рославлевых» — Загоскина и Пушкина, гражданственность которых, как и самое русское

самосознание, определил грозный 1812 год, — и столкнулись «русский Бог» и «недоверчивый идеологизм»: понимай как хоть «воскрешаемое», хоть как «восхищаемое». Русь — Восток Ксеркса иль Христа? Или — того и другого: язычески-памятливой и христиански-основоположенной? «Порча» — ереси — раскол: Чаадаев иль рассол? Пусть Загоскин и недалеко ушел от хулимой «прогрессистами» булгаринской концепции общего благополучия при имеющихся тогда в России всего лишь «некоторых деформациях», по крупному счету если говорить. А поздний Гоголь в «Переписке», узревший, не в пример Белинскому, на Руси христианскую гармаонию межлюдскую «по-загоскински». Простим «стилистические погрешности» первопроходцам русской словесности и осмысления русской ментальности, булгаринскими же словами взывая не судить за мелочи досадные ради большего (вроде как «брестский мир»): "Критики, — писал автор «Ивана Выжигина», — простят мне недостатки ради благой цели, удостоверясь, что дурное представлено мною на вид для того только, чтоб придать блеска хорошему». Или как сказал Гумилев: «И жизнь, и смерть даны нам Богом для оттененья белизны» — расстрельный эстетизм бойца и основателя акмеизма. Значит, долой критиканство пустого или «деревянного сердца» ради беспечного зуда позубоскалить пересмешно.

Да здравствует боль сопереживания за улучшение родного. Не казенным оптимизмом «квасного патриотизма» переполнялось сердце Загоскина, в народном смысле «благонамеренного» человека порядочного, ну и пусть живущего себе в унисон с цензурным уставом 1828 года, который, кстати, тот же Фаддей Булгарин почитал «самым прочным памятником любви к просвещению». НЕ ЕСТЕСТВЕННО ЛИ СОВПАДЕНИЕ ПУЛЬСА СТРАНЫ, В ОСНОВАНИЯХ ПРАВИЛЬНОЙ, С СЕРДЦЕБИЕНИЕМ ЕЕ ПАТРИОТА?! Это ведь, как Пашка Колокольников — любимец Василия Макаровича Шукшина, «алогичный» поступками в глазах мещан (как, пожалуй, и герой «Записок из подполья» Достоевского) — этот новый «Иванушка-дурачок», «неоглуповец» добросердечный перевернул привычные поведенческие «нормы»: например, сватовство по родительскому расчету. Но где же «бунт»? Вместо традиционного протеста живого чувства против родительской воли — вдруг видим встречное согласие, если личное желание с о в п а д а е т с этим искусственным сватовством, но робко помалкивает, как верно понял это критик Лев Аннинский, до толчка извне. Не бунтовать же

ему на радость «традиции» и на горе судьбе!

Вот от таких догм отказывается саморазвивающееся национальное сознание. Или еще пример. Совсем недавно мелькнула статья под странноватым на первый взгляд названием: «А. Хомяков против И. Киреевского» («Наука и религия», 1989, № 1). Не описка ли тут? — вопрошает «традиционное мышление». Хомяков против Чаадаева или Хомяков против Герцена — это понятно, можно свести к привычной оппозиции: славянофил против западника. Но разве противопоставление одного из отцов славянофильства другой величине того же лагеря — не нонсенс? Не они ли рука об руку вели непримиримую борьбу против чужеродных течений русской общественной мысли? Да, конечно. Основоположники славянофильства — единомышленники. И все-таки... Мы, пишет автор статьи В. Керимов, привыкли довольно односторонне анализировать славянофильство: либо как монолитное учение, без всяких оттенков, либо как совокупность взглядов отдельных мыслителей. Это непродуктивно, потому что уже в раннем (классическом) славянофильстве обозначились две линии, два голоса. Копнул исследователь глубже — и отпала еще «парочка догм»: оказывается, Киреевский «любовался» вовсе не допетровской жизнью, а идеализировал конкретно «доивановско-грозновские» времена. А что касается Хомякова, так тот вообще прошлым России не «любовался».

Вот так и Пушкина с Загоскиным развести, чтобы свести у «единого общерусского сердца». Это не армейский развод и не сводный оркестр. Это потребность истины. А может, Загоскин и Пушкин — это две ипостаси «единого», как, скажем, абсолютноая идея от ее раздвоения в «сущности» — к единству в «понятии»? А может, они — как Толстой и Гегель? Гегель, порицая тех, кто подходит к великим людям с нравственными требованиями, вспоминает поговорку, из которой ясно, что для камердинера не существует героя не потому, что последний не герой, а потому, что первый — камердинер. Толстой же, «как обычно», полагал как раз наоборот: для лакея не может быть великого человека, потому что у лакея свое понятие о величии. Правда, у Толстого, кажется, психичсский иммунитет не только к Шекспиру или к Пушкину, но и «идиосинкразия» к Гегелю: он, занимаясь философией, считал Гегеля «пустым набором фраз». По-моему, их развела опять же «нравственность»: у Гегеля Толстой порицал нравственный индифферентизм, и учение этого немецкого философа об искусстве Лев земли русской характеризует как порочный эстетизм, оторванный

от нравственности. «Авторитар» супротив «либерала». Исполним же завет: «Испытывайте духов: от Бога ли они» (1 Ио. 4,1).

И закончим нашу Вводную главку книги судеб переоценки ценностей кусочком из Дневника Достоевского за 1877 год. Вот она, горсть разбросанных мыслей:

«Все споры и разъединения наши произошли от ошибок и отклонений ума, а не сердца, и вот в этом-то определении и заключается все существенное наших разъединений... Ошибки сердца есть вещь страшно важная: это есть уже зараженный дух иногда даже во всей нации, несущий с собою весьма часто такую степень слепоты, которая не излечивается даже ни перед какими фактами, сколько бы они ни указывали на прямую дорогу; напротив, перерабатывающая эти факты на свой лад, ассимилирующая их с своим зараженным духом, причем происходит даже так, что скорее умрет вся нация, сознательно, то есть даже поняв слепоту свою, но не желая уже излечиваться...». «Чтоб судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временно и даже хотя бы и в большинстве своем может унизиться, а надо брать в соображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок. Ибо безобразие есть несчастье временное, всегда почти зависящее от обстоятельств, предшествовавших и преходящих... Народ наш доказал еще с Петра Великого — уважение к чужим убеждениям, а мы и между собою не прощаем друг другу ни малейшего отклонения в убеждениях наших и чуть-чуть несогласных с нами считаем уже прямо за подлецов, забывая, что, кто так легко склонен терять уважение к другим, тот прежде всего не уважает себя. Ну нам ли учить народ вере в себя самого и в свои силы?.. Он национален и стоит на том изо всей силы, а мы — общечеловеческих убеждений, да и цель свою поставили в общечеловечесности (по европейским шпаргалкам, желая в народе-то истребить «подлинно народное». — Е. В.), а стало быть, безмерно над ним возвысились. Ну вот в этом и весь раздор наш, весь и разрыв с народом...». «Настала строгая минута для России. России нужна правда. Медлить некогда...» — доносится голос К. Аксакова из века минувшего в душу современника. «Мы в Европе лишь стрюцкие», — сказал Достоевский, завещая единственный выход: «стать поскорее русскими и национальными». «Голос истины, — слышу И. Киреевского, — не слабеет, но усиливается своим созвучием со всем, что является

истинным где бы то ни было. В конце концов и западники с уходом из жизни славянофилов потеряли противников, которые были ближе им многих своих. То, что одни принимали за воспоминание, другие называли пророчеством».

Май 1989

Евгений Вертлиб

Гармиш-Партенкирхен, ФРГ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

"...УЖ НЕ ПАРОДИЯ ЛИ ОН?..."

...И тот не наш, кто с девой вашей
Кольцом заветным сопряжен;
... (И наша дева молодая),
Привлекши сердце поляка,
(Отвергнет) гордою душою
Любовь народного врага...
Пушкин, "Графу Олизару" (1824)

Гоголевский Хлестаков, желая напустить на себя побольше важности, похвастал мнимым знакомством с Пушкиным и дерзнул выдать себя за автора нашумевшего тогда романа "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году", вышедшего в трех томах в Москве в конце 1829 года и восторженно принятого общественностью российской. В письме от 11 января 1830 года Пушкин поздравил Загоскина с "успехом полным и заслуженным, а публику с одним из лучших романов нынешней эпохи".

Критик Белинский по праву назвал "Юрия Милославского" – в своих "Литературных мечтаниях" в "Молве" 1834 года – первым хорошим русским романом. Герои не только заговорили русской речью, но и стали чувствовать и мыслить п о - р у с с к и. Загоскин уловил пульс времени – движение России к национальному. Этот наш русский признанный "Вальтер Скотт" демонстрирует нам правильно понятую им сущность "вальтерскоттирования": 1) умение живописать внешнюю историческую жизнь или поэтизировать национальный быт; 2) живописание исторических характеров или поэтизация национального духа. "Юрий" уже со стороны своего сюжета и конструкции отдельных эпизодов напоминает роман Вальтера Скотта под заглавием "Легенда о Монтрозе", появившийся в русском переводе в 1824 году. Юрий – метампсихоза Вальтер-Скоттова Веверлея. И прием декоративного изображения старины, и поэтизация национальности в ее лучших проявлениях, и даже форма произведения – все напоминает романы Скотта. Находили

в загоскинской музе и иные питательные источники: например, Н. Полевой настаивал, что "Юрий Милославский" – роман совсем не в роде В. Скоттовых, а образцом послужили скорее романы Купера. Иные не сомневались в том, что романы Радклиф и лжепатриотические пьесы Августа Коцебу оставили след в душе и памяти Загоскина навсегда, развив в его таланте склонность к чудесному и стремление до некоторой степени смотреть на жизнь с исторической точки зрения – с одной стороны, и узкий консерватизм – с другой. Отсюда, дескать, эта наивность у Загоскина в изображении лиц и событий, присущая английской исторической романистике, отсюда и деланность, и напускная сентиментальность – черты, характеризующие "коцебятину" немецкого писателя, подарившего, в таком случае, Загоскину р е т р о г р а д н ы е общественные идеалы.

Как бы там ни было, романтизм индивидуализировал человеческую личность, эпохи, народности и природу. И решающую роль в этом отношении сыграл Вальтер Скотт и его школа исторической романистики. И Загоскин первый пошел по стезе, избранной знаменитым шотландцем. С Загоскиным языковая "правильность", как у писателей Ф. Булгарина и Н. Греча, уступила стилистическое место вдохновенной ненатянутой импровизации.

Когда старшинством голосов Загоскина за "Милославского" поставили "выше Купера" (66:472) даже, Пушкин примерно в то же время, как сказано в восьмой главе "Евгения Онегина" (она писалась с 24 декабря 1829 по конец 1831), даль свободного романа еще не ясно различал, хотя и возникла в 30-х годах чуть ли не эпидемия исторической беллетристики.

Справедливости ради отметим, что Загоскина мог "за пояс заткнуть" тогда разве что новеллист, "зачинщик истинной повести" (10:272) Бестужев-Марлинский, который начал писать вдохновенным "наречием страстей", поражая точностью суждений, высокой простотой в утонченном описании волнений сердца и ума. Пушкин не случайно сказал, и Полевой согласился с ним, что "из живых писателей Бестужев теперь один романист в Европе" (40:33).

Любопытно мнение самого Бестужева по данному вопросу. "Вы правы, – писал он Полевому 18 мая 1833 года, – что для Руси невозможны еще гении: она не выдержит их; вот вам вместе и разгадка моего успеха. Сознаюсь, что я считаю себя выше Загоскина и Булгарина; *но и эта высь по плечу ребенку.* ...Меня мало радует ходячесть моя" (12:650). Обозрев российскую словесность, Бестужев оставил нам свой вывод о ее состоянии на 1823 год: "...В комедиях Загоскина разговор естественен, некоторые лица и многие мысли оригинальны, но планы их не новы"; умение Загоскина

"развертывать забавные черты" людей "доказывает комический дар автора" (12:543).

Кстати сказать, Бестужев одним из первых обратил внимание на комический дар Загоскина, юмор которого отчасти предвосхитил "даже Гоголя" (17). И далее Бестужев сравнивает Загоскина с другим "юмористом" – Булгариным, автором романа "Иван Выжигин", одна из глав которого уже самим заглавием – "Дружба с умной актрисой или самый легкий, самый приятный и самый верный способ к разорению" – говорит о направленности творческих поисков творца. Пушкин Булгарина и Греча – этих литературных "братьев-разбойников" (сродни хваткому и ловкому на "сенсации" советскому Пикулю) – определит как "сволочь нашей литературы".

Так вот, Бестужев продолжает: "...в 'Петре Выжигине' историческая часть вовсе чахоточна, русских едва видно, и то они теряются в возгласах или падают в карикатуру. Впрочем, ошибочные в целом, романы Булгарина в частностях носят *отпечаток даровитого юмора,* и многие из лиц его обратились в пословицу. Мы обязаны ему благодарностью за пробуждение в русских охоты к родным историческим романам. Он первый прошел по скользкому льду; мудрено ли, что стезя его излучиста? Теперь ступайте!.. *Явился Загоскин и с первой попытки догнал Булгарина... В истине мелких характеров и быта Руси он превзошел автора 'Самозванца', ни сколько во взгляде на события..."* (12:596).

Немудрено было обогнать Булгарина – "первопроходца". Загоскину удалось даже "решительно" (16:550), как утверждает академик В. В. Виноградов, преобразовать карамзинскую манеру повествования, ослабить высокую риторику, усилить бытовой элемент речи, внести, пожалуй, раньше Пушкина – творца "Капитанской дочки" – местный колорит в рассказ о народной старине. К сожалению, вместе с тем в спешке и манеру-то живописания быта, взяв от Скотта, не освоил как следует: "...брал старину уже из вторых рук, из готовых сочинений и журнальных статей, и спешил использовать их наскоро, в сыром виде вставляя эпизоды из других сочинений почти без всякой личной обработки" (33:357–365).

Окрыленный удавшейся попыткой в "Милославском" заглянуть в глубину национального быта и духа и найти в них величие и красоту, Загоскин замышляет писать новый роман "Рославлев или русские в 1812 году". Писать по горячим следам событий – дело далеко не "шуточное". Из письма от 8 января 1830 года А. Шаховского к С. Аксакову мы узнаем, что "...Жуковский очень, однако, жалеет, что он (Михаил Николаевич – Е. В.) начал роман нашего времени ("Рославлев"), ибо в нем трудно будет вывести и заставить говорить людей, которые еще живы; однако Пушкин и я не-

сколько убедили его думать, что кто, сверх ожидания, мог сделать прелестный роман из эпохи, которой лица до него были для нас как в тумане, найдет средство в даровании своем преодолеть и новое затруднение" (66:472).

Благословение Пушкиным и Шаховским на создание "Рославлева" Загоскин воспринял как призыв привлекать и впредь внимание нации к русским основам жизни, творчески осмысливать и разрабатывать это праведное "надлежащее направление, формирующее убеждение" (37:55–56). Жуковский письмом от 4 июня 1831 года поощряет "изображение истины", призванной вернуть заблудших из пленения модным "чужебесием" к православно-патриотическому миросозерцанию. А поскольку "доселе, – продолжает Жуковский, – никто еще не писал у нас верно с натуры. Были карикатуры, для коих образцами было не наше", то главная критика на оба романа – "только к неправильности языка", не считая "досадных мелочей", таких например, как при описании высшего света (37). Пусть героиня любви "Рославлева" заимствована, "вспенена, – по заключению Бестужева, – из двух стихов трагедии 'Освобожденная Москва' (*'Она жила и жизнь окончила для Вьянка: / Да тако всякая погибнет россиянка!'*)" (12). При всем при том, "положения, хотя и натянутые, занимательны", "разговоры, хотя и ложные, живы" – сообщает Пушкин в письме от 3 сентября 1831 года Вяземскому свои впечатления от "Рославлева", заключая свой отклик весьма недвусмысленной концовкой: "все можно прочесть с удовольствием". Прав критик Н. Надеждин, подытоживший, что в "Рославлеве" преобладает чувство любви к родине, а все прочие ощущения в нем как бы теряются.

На Загоскина сыпались милости: 30 апреля 1830 года он был назначен управляющим конторою Императорских московских театров, а спустя год получил чин коллежского советника, пожалован в звание действительного камергера Двора Его Императорского Величества с определением на должность директора московских театров; тогда же избран он и в действительные члены Российской академии, а по присоединении ее к Академии наук – в почетные члены академии по отделению русского языка и словесности. За "Рославлева" Государь Император пожаловал Советнику Загоскину 6 июня 1831 года бриллиантовый перстень.

В Загоскина летела хула: романы его, негодует Белинский, "один слабее другого. В них он ударился в какую-то странную, псевдопатриотическую пропаганду и политику и начал с особенною любовию живописать разбитые носы и свороченные скулы известного рода героев, в которых он думает видеть достойных представителей чисто русских нравов, и с особенным пафосом прославлять любовь

к соленым огурцам и кислой капусте..."

Аполлон Григорьев, рассуждая о развитии идеи народности в русской литературе, принципиально не согласен с декларируемыми Загоскиным взглядами на народ: "У него был и космический талант... Но дело – повторяю – вовсе не в нем, а в *его направлении,* в его взгляде на жизнь, в его представлении народности". Но не загоскинская ли идея патриотизма оказалась нужной самому Льву Толстому – патриарху литературы – при создании "Войны и мира"?! Вот кусочек его письма от 27 ноября 1864 года к С. А. Толстой, жене: "...Зачитался Рославлевым. Понимаешь, как он мне нужен и интересен... Все читал с наслаждением, которого никто, кроме автора, понять не может" (90:58–59). Не сразу можно назвать еще одно произведение русской литературы, которое бы получило в устах Толстого столь высокую оценку.

Что могло прельстить Толстого в "Рославлеве"? Сошлемся на мнение пензенского ученого И. П. Щебылкина, кажется, впервые поднявшего вопрос о творческих соотношениях "Войны и мира" с "Рославлевым" (100). Толстой к середине 60-х годов XIX века вполне проникается мыслью о неоднородности господствующего дворянского сословия, о моральной деградации некоторых из высших его слоев и относительно благополучном духовном состоянии тех, кто по условиям своего существования (усадебное дворянство) близок к природе, к быту народных крестьянских масс. Такая антитеза (весьма прогрессивная для 30-х годов) между столичной властью, нередко далекой от интересов отчизны, чуждой ее страданиям в год наполеоновского нашествия, потерявшей чувство национального достоинства, и среднеусадебным дворянством четко проведена в романе Загоскина (Рославлев – Радугина). В начальных главах романа Загоскин в сатирическом плане рисует петербургский салон княгини Радугиной, посетители которого очень напоминают завсегдатаев салона Анны Павловны Шерер: та же мелочность и пустота интересов, то же презрение к народу, национальной культуре, те же обезьяньи ужимки, именуемые этикетом, преклонение перед иностранным. И хотя в салоне г-жи Шерер (1805 год) произносятся осуждающие слова в адрес Бонапарта и, конечно, порицается французомания, а в салоне княгини Радугиной (время после Тильзитского мира) были убеждены в том, что "отечество наше... должно быть сколком с других наций, а особливо с французской", – эти два салона отражают дух и настроение определенной части светского общества, уродливой, и фальшивой по своим моральным принципам, чуждой патриотическому движению 1812 года. Загоскин осуждает ее, как и Толстой.

Наблюдается близость отдельных элементов характеристики

Рославлева и Болконского. Антитезу светская знать – усадебное дворянство Загоскин переносит на изображение армейских кругов. Храбрым офицерам противопоставлены отпрыски внепатриотических аристократов. Одним из первых в русской исторической прозе Загоскин показывает, что карьеризм и тщеславие оставались и в условиях военного времени главными принципами морального поведения некоторых представителей "золотой" дворянской молодежи, вследствие чего у них наблюдается не только стремление выслужиться, но и панический страх перед малейшей опасностью, полное отъединение от солдатских масс, неспособность к активным боевым действиям, отсутствие патриотизма. Эти же пороки, как известно, с редкой обличительной силой были раскрыты Толстым в изображении "штабной" знати (Жерков, Несвицкий и др.).

В романе Загоскина Толстому, несомненно, импонировало сатирическое отрицание французомании, равно как и ироническая оценка тщеславных завоевательных устремлений наиболее агрессивных французских военачальников. Элементы такой иронии были не только восприняты, но и резко усилены в романе "Война и мир" (образ Наполеона). Толстой с сочувствием мог прочитать строки, где говорится о "варварском" распоряжении Наполеона взорвать Кремль в момент отступления из Москвы, о "гениальных причинах", побудивших французского императора к "сему безумному и детскому мщению" (сравнение Наполеона с ребенком появится затем в "Войне и мире"), об обстоятельствах, которые вынудили избалованного славой полководца позорно бежать из России.

Писателей крепко связывает идея патриотического чувства, которое, судя по "Войне и миру", явилось основным условием победы русского народа над Наполеоном. На страницах "Рославлева" мы находим едва ли не первые в русской прозе развернутые и в целом верные суждения о значении народного партизанского движения. Загоскин, по мнению цитируемого Щебылкина, подходит к той же мысли, которая была впоследствии столь ярко выражена Толстым, с помощью метафоры о "дубине народной войны", гвоздившей французов до тех пор, пока на русской земле не осталось ни одного вооруженного неприятельского солдата.

Не исключено, что Толстой мог со вниманием отнестись к попытке Загоскина сблизить патриотические устремления провинциальных дворян и простолюдинов. И хотя Толстой, в отличие от Загоскина, показывает случаи неповиновения крестьян своим господам (вспомним бунт в Богучарове), но и он, однако, дает этот факт как н е х а р а к т е р н ы й для всей крестьянской массы случай.

"Классовая гармония", идея общенационального единства – доминируют как у Загоскина, так и у Толстого. Как у одного, так и у другого оценка человеческого достоинства, как верно подметил Щебылкин, – "не столько по классовому, сколько по моральному принципу". Одним из показателей полноценности личности Толстой считал органическую слитность устремлений человека с интересами своей нации, глубину патриотического чувства. Этот критерий широко применяется и Загоскиным. Разница только в том, что патриотизм, как полагает Щебылкин, "Толстой никогда не отождествлял с верноподданничеством. В романе Загоскина эти принципы едва ли не однозначны".

Достойны внимания и такие частности: невеста Рославлева (Полина) после помолвки, в отсутствие своего жениха, влюбляется в Синекура, воплощающего чуждую, ненавистную Рославлеву среду иноплеменных захватчиков. Невеста Болконского (Наташа Ростова) также после помолвки увлекается человеком, моральные принципы которого (Курагин) составляют полную противоположность принципам Болконского. Сходно также состояние инертности, отрешенности от мира Рославлева и Болконского в тот момент, когда тот и другой теряют невест. Очень важно отметить, что личная кризисная полоса преодолевается и Рославлевым, и Болконским участием в патриотической войне. Наконец, у Толстого Наташа осознает и искупает свою "вину" у постели умирающего Болконского, у Загоскина умирает сама героиня, допустившая роковую ошибку. Имеют место и эпизоды "исповеди": Наташа – у постели смертельно раненного Болконского, умирающей Полины – в момент встречи с Рославлевым в Дрездене.

Рассматривая пересечения сюжетных "ходов" как стремление двух писателей отразить одну и ту же историческую эпоху в острых драматических коллизиях, нельзя не признать, – делает вывод Щебылкин – что *"Толстой активно учитывал и как историк, и как художник предшествующий опыт Загоскина.* Толстому была понятна (и это вошло в роман "Война и мир") центральная идея "Рославлева" – идея патриотического подвига русских людей, сумевших отстоять свою независимость. Толстой близок к Загоскину в раскрытии логики и роли патриотического движения в стране. Есть общее между Загоскиным и Толстым в оценке преимуществ 'усадебной' жизни перед жизнью столичных дворянских верхов. Толстой не только воспринял, но и усилил критику антигуманных бессмысленных действий Наполеона как завоевателя. Толстому импонировало в романе Загоскина отсутствие парадности в изображении войны, стремление к наглядности, натуральной выпуклости в обрисовке батальных событий..." (100:116).

Загоскин "Рославлевым" дал монархическую концепцию войны 1812 года, ограничившись узким кругом лиц и событий. Толстой же, доискиваясь сокровенного смысла событий, показал военные эпизоды 1812 года в общей цепи человеческих деяний, интегрируемых к тому же в капитальных общественных принципах – принципах добра и зла общечеловеческих. Но, как известно, не будучи национальным, нельзя стать интернациональным, всеобщим. А национальное на Руси в момент создания "Рославлева" боролось с революционной французской заразой. Поэтому в 1832 году государь Николай Павлович и С. С. Уваров избрали девизом России трехсоставную формулу – "Православие, Самодержавие и Народность" – не без видимого противоположения оной девизу революционной Франции, состоящему также из трех слов. Не знали только, как понимать эти слова: "свобода, братство и равенство". Мир знает, чего стоит свобода без креста. А православие, как сказал А. С. Хомяков, спасает не человека, а человечество. Когда русское общество задумалось, чтобы уяснить себе существо народного духа, многие пришли к убеждению, что русский народ в области веры живет православием; в области государственной – держится Самодержавия, а в области быта крепок своей Народностью. И Загоскин был одним из зачинателей этого направления. Народ у Загоскина не отлучен идеологическим антагонизмом от власти, а у Толстого – это, хотя и роевая, но самостоятельная сила. Не потому ли Ленину и нравился мужик по Толстому ("до этого графа подлинного мужика в литературе не было"). Цель толстовства с руссовским учением, что человек сам по себе хорош и самодостаточен, вела к ниспровержению "ненужного" в таком случае Бога, Церкви, светской власти – этих внешних хранителей всех духовных принципов и институций. Вывод: во Франции застучали ножи гильотин, а Россия – все еще кровью платит за революцию. Вот потому-то в эпоху царствования Николая Первого, выражаясь словами Архиепископа Виталия, "замечательного русского царя и хозяина русской земли, столь оклеветанного либеральной и легкомысленной нашей интеллигенцией, Россия выработала не хлесткие пропагандные слова, а тот земной порядок, при котором лучше всего помочь человеку самому сделаться лучшим, дабы действительно, не ложно осуществить на земле истинную свободу, истинное равенство и истинное братство во Христе". Во времена Загоскина Русь ринулась в идейное размежевание, постепенно расширяя пропасть между сторонниками "общественной гармонии" и клеймителями "всяческого" неравенства. Белинские не могли понять "внеклассовую" гоголевскую "Переписку с друзьями". Зато над нею склонялись Толстой и Досто-

евский. И за Загоскиным, а не за пушкинским одноименным "Рославлевым" (пародия? переделка? пастиш?) пошел Лев Толстой в "Войне и мире". Загоскин, в таком случае, "правее" Толстого; а Пушкин?

Итак, Вальтер Скотт. Это не только имя, но и явление на Руси. Этой "монетой" измерялись творческие вехи русской прозы. За украинского "Тараса Бульбу" – "коего начало достойно Вальтер Скотта" – Пушкин "расцеловал" Гоголя. Почитатели Загоскина писали русскому романисту, что "сам В. Скотт почел бы за отличную честь назвать [...] его произведение своим собственным" и что он "первый пошел по стезе, знаменитым шотландцем избранной...". Бестужев уточняет время пришествия на Русь и объем оказанного Вальтером Скоттом воздействия на формирующееся русское самосознание. Вместе с появлением у нас германской мечтательности и английского сплина, пишет он, еще пожаловал на Русь гений Вальтера Скотта, который угадал домашний быт и вседневный ум рыцарских времен, и, не будучи романтиком – "в таможенном значении слова" – по предмету, он романтик по изложению, по формам, по стерновскому духу анализа всех движений души, всех поступков воли. Он же заманил французов в знакомство с Шекспиром, разлакомил их своими досказками к истории и внушил Баранту его романтическую летопись. И наконец, В. Скотт решил *наклонность века к историческим подробностям,* создал исторический роман (17:593–4). Эпоха романтизма свела интересы автора и читателя от "общечеловеческого" к "индивидуальному". Булгарин – мастер в живописи подробностей – в своем "Дмитрии Самозванце" изобразил не Русь, а газетную Русь, не постигнув духа русского народа. Когда слезливые полурусские иеремиады наводнили русскую словесность, возникла противостоящая этому "потопу" русская шишковская старомодность языковых и жизненных форм, отдавая симпатии восставшему против сей сомнительной новизны национальному духу.

Действительность же еще долго "измерялась списками воспетых вещей", ведь и многие строфы из пушкинского "Евгения Онегина" "смахивают – по утверждению Андрея Синявского – на каталог – по самым популярным тогда отраслям и статьям" (89); делались реестры из сведений далеко не оригинальных и нередко даже в неприбранном виде вводили их в словесность. Иллюзия полноты при этом достигалась, как формулирует Абрам Терц, мелочностью разделки лишь некоторых, несущественных подробностей обстановки, при зачастую отсутствии в романе главного. "Оголтелая описательность", когда писатель не столько показывал, как говорят его герои, сколько рассказывал об этом (посему, как у Загоскина, например,

не столь редко наблюдалось несоответствие между драматическою живостью отдельных сцен и недостаточным развитием характеров) главенствовала в период становления русской прозы, когда пафос количества торжествовал в поименной регистрации мира, сближая даже некоторые сочинения Пушкина с "адрес календарем".

Не таков ли и "Евгений Онегин"? Эта "энциклопедия русской жизни", роман в стихах "расцвечен пестрыми красками литературных намеков, цитат и ссылок, – считает академик В. В. Виноградов, – насыщен... явными, скрытыми или иронически приглушенными отголосками чужих литературных произведений". И Михаил Бахтин констатирует факт: "... почти ни одно слово не является прямым пушкинским словом в... безоговорочном смысле. Поэтому единого языка и стиля в романе нет" (9:414–5).

Видно, рано еще было русскому искусству выдавать глубокие и неповторимые воплощения жизни. Отдельные удачи и составляли гордость пробуждающейся нации. Народная война 1812 года помогла России с помощью другого народа "сделаться нацией". Загоскин в "Рославлеве" намечает фазы постадийного приобщения России к цивилизации европейской. Путь саморазвития вырисовывается примерно таким: от "презрения к иностранцам", через "век обезьянства" – к "истинному просвещению", когда "мы не презираем и не боготворим иностранцев... Народный характер и физиономия образуются; мы начинаем любить свой язык, уважать отечественные таланты и дорожить своей национальной славою...". По мнению писателя, последнее еще не наступило, но все же отрадно сознавать, что "теперь мы привыкаем любить свое, не стыдимся уже говорить по-русски" (31:119, 120, 413).

Уже в 1790 году И. В. Лопухин пророчествовал, что "дух ложного свободолюбия сокрушит многие в Европе страны..." – таковы, по его мнению, были "планы новомодной философии". И впрямь: судя по Переписке Мелидора с Филаретом (1795), "утешительная система" уже на глазах Карамзина "разрушалась в самом основании". Под впечатлением от нависшей угрозы над судьбой русской самобытности, в 1808 году, кажется впервые, в "Русском Вестнике" раздались настойчивые призывы: в качестве противодействия разрушительной новизне – вернуться назад, к основам жизни предков, ибо "просвещение без чистой нравственности и утончение ума без обогащения сердца есть злейшая язва...". Знание без Бога = дьяволу.

Так вот Загоскиным после 1812 года всецело завладела идея, обязывающая его дать "надлежащее направление", призванное бороться, как мы узнали об этом из слов самого Загоскина при поднесении им романа "Искуситель" князю Михаилу Павловичу (1838),

"бороться с новыми идеями, ...разрушающими порядок, повиновение к властям, к закону, – идеями, которые восстают против всякого верования, против всего, что священно для христианина" (33: 288). Антихрист европейской революционности призраком потянулся к России. Какие там "два-три легких анахронизма и некоторые погрешности против языка и костюма" (основная претензия Пушкина к "Юрию Милославскому")?! – Не до того: нужно строить немедля духовные преграды змею ложного свободомыслия. Жаль, что изображать эпоху в лицах пока трудновато: попробовал Булгарин в "Петре Ивановиче Выжигине" изобразить исторические личности 12-го года, да Наполеон и Кутузов вышли какими-то фарсовыми оба. Да и вообще не суть. Ведь роман не история. Так, выражаясь словами барона Брамбеуса (Сеньковского), зрели "плоды соблазнительного прелюбодеяния истории с воображением". Хотя вместе с истиной разгуливало и воображение писателя, Загоскин вместе с тем старался по мере возможностей соблюдать в своих произведениях историческую правду.

Воссозданная историческая истина обогащается "небогупротивными" симптомами времени: прославляется просвещение не как таковое, а что выше предрассудков на пути укрепления веры. Активное христианское добро с духом незлобливой пацифистичности отстаивается Загоскиным: "Просвещенный человек и христианин не должен и не может ненавидеть никого... Если безоружный неприятель будет иметь нужду в твоей помощи, то кто бы ты ни был, он верно найдет в тебе человека, для которого сострадание никогда не было чужой добродетелью... Все народы имеют свои национальные слабости; и... подчас наша скромность, право, не лучше французского самохвальства" (31:118) – поучает Сурский Рославлева. Какой же в таком случае Загоскин "квасной патриот", как повелось думать о нем?! Он беспристрастен и справедлив по высшему счету как в оценке неприятеля (временная категория, а не перманентная), так и в строгой, умеренной похвале своего народа, не распространяющейся, к примеру, на его невежество. Как современно звучит загоскинская мысль 160-летней давности: "Подражание умному, хорошему в иноземном есть приобретение к пользе отечества" (80:25). Идеи отнюдь не шовинистические.

А. Н. Пыпин, характеризуя в своих исторических очерках литературные мнения от 20-х до 50-х годов XIX века, пишет: "В течение прошлого столетия явилась у нас вольфианская философия, масонский пиэтизм, французская философия и вольнодумство, реакция мечтательности и сантиментальности; так *теперь* открываются романтические влияния, в их разных видах, от религиозного мистицизма до *скептической разочарованности;* в связи с романтизмом

у нас, как и в Европе, начинается, с одной стороны, либеральное движение, проявившееся в *тайных обществах,* и с другой, правительственная реакция; в другой связи с романтизмом развивается изучение народной старины и поэзии, увлечения 'народностью', затем шеллингова философия и гегельянство в 30-х и 40-х годах, наконец, фурьеризм и сен-симонизм..." (71:15).

"Разочарованные" нередко оказывались в тайных обществах. Было от чего Руси шарахаться: сквозь контуры фаланстеры Фурье проглядывал Архипелаг ГУЛАГ. От Фихте – "железный занавес", а от его "коллективной души народа" – Третий Рейх. Не Загоскин, а англичанин Гоббс – первым предложил идею тоталитарного государства, в "Левиафане": глава государсрства – господин не только над имуществом и жизнью, но и с о в е с т ь ю граждан. Или Руссо, кому поклонялся Толстой, своим учением о свободе и общей воле создал школу тоталитарной идеологии. То же можно сказать и о других "вкладчиках": Платоне, Томасе Море, Кампанелле, не говоря уж о Гегеле, Марксе, Энгельсе.

"Французские либералы и русские европейцы" являлись проводниками тех западных опасных идей, которые грозили потрясти не только традиционные устои русской жизни, но и сами христианские основы цивилизации. Поэтому *охранительную миссию* Загоскиных не следует путать с царской *охранкой.* "Разочарованные" типа Евгения Онегина – усталые, надорванные, праздные; им, наскуча щеголять маской, не возбранялось Пушкиным "проснуться раз патриотом", неким в д р у г народолюбцем, который, осмеяв все в тогдашнем обществе, даже балет, вдруг подался к декабристам: не в н у т р ь с е б я, а в н е пошел искать из грибоедовской Москвы, вслед за Чацким, точку приложения себя к жизни: "искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок". В. Ключевский не исключал и иного исхода для Онегина, ибо некоторые, такие как он, находясь в подобном трагическом положении культурного м е ж е у м к а, пускали себе пулю в лоб ("он застрелиться, слава Богу, попробовать не захотел"), ибо представлял собой, по заключению известного историка, "явление вымирающее": "Это не столько тип, сколько гримаса, не столько характер, сколько поза, и, притом, чрезвычайно неловкая и фальшивая... *Это были не герои времени, а только сильно подчеркнутые отдельные нумера,* стоявшие в ряду других, – общие места, напечатанные курсивом... Он старался стать своим между чужими и только становился чужим между своими..." (43:291–306). Онегина, пишет Андрей Синявский, "можно тянуть куда угодно – в лишние люди, и в мелкие бесы, и в карбонарии, и просто в недоросли, от-

чего нестойкий характер окончательно разваливается, освобождая место для романа в стихах" (89:150).

Загоскин устами умирающего своего героя Сурского опровергает этот "надуманный" путь гордыни безбожной, уводящий от Бога, истины: "Гордость и самонадеянность найдут всегда тысячу способов затмить истину... Нет, Рославлев! Один Бог может смягчить сердце неверующего. Я сам... искал везде истины, готов был ехать за нею на край света (намек на Чацкого. – Е. В.) и нашел ее в самом себе! Да, мой друг! Что значат все рассуждения, трактаты, опровержения, доводы, все эти блестки ума перед простым, безотчетным убеждением того, кто верует?" (31:311). В романе 1839 года "Тоска по родине" Загоскин возвращается к этой мысли: "Главною чертою моего характера была какая-то мечтательность, которая всегда мешала мне наслаждаться спокойно настоящим; я строил беспрестанно воздушные замки, один другого прекраснее (удар по предстоящим "снам Веры Павловны" из романа "Что делать?" и самому автору, Н. Г. Чернышевскому, чертами которого воспользуется Ф. М. Достоевский в "Бесах". – Е. В.); я видел себя счастливым только в будущем...".

Загоскинский тезис "наслаждаться спокойно настоящим" вовсе не означает призыва к эпикурейству, даже совсем напротив: еще в 1819 году в Москве появилась комедия Загоскина "Добрый малый", где писатель сильно снизил грессетовского Клеона, усиливая в своем Вельском черты злого, бесстыдного лжеца, насмешника, придерживающегося "системы Эпикура" ("наслаждайся жизнью – и все тут!"). Гедонизм Загоскину представляется одним из отрицательных свойств характера человека. А тот же, например, француз Фурье, фаланстера которого – прототип Архипелага ГУЛАГ, проповедовал животный гедонизм.

Загоскин старался преследовать пороки сатирой в "улыбательном роде" (по примеру полемики "Всякой всячины" против Новикова), в принципе не изменяя заветам известного Лапарга, исправляя нравы, забавляя и смеша зрителей и читателей. Но постепенно первоначальная безобидная форма легкой насмешки в адрес смешных исключений, а не типических явлений, – приобретает все больше ярко выраженную сатирическую окраску, даже "памфлетную" (памфлет М. Н. Загоскина на П. Я. Чаадаева и М. Ф. Орлова) решительность, чудом минуя заноса от стихии бытового юмора в оголтелую политику. Русский гуманист Загоскин в ситуации начавшейся ломки основ "всякого верования" и самой нравственности вынужден дать прямой ответ на "проклятые вопросы" времени – в форме категорической нравственной санкции, что демонстрирует, скорее, его честную нетерпимость ко злу в любом обличье, нежели не-

кую "партийную заинтересованность", "элементарный пересказ уваровской формулы", как почему-то твердится в советском литературоведении.

"Новые идеи, восстающие против всякого верования", подвигли Загоскина напомнить людям, что истина тиха в естественном самовыражении своем; однако, становясь развлекательной игрушкой в руках беспечных, безответственных "умников" типа пушкинских философов "без малого осьмнадцатилетних", или уже не управляемой болтунами "прозаседавшимися", она угрожающе видоизменяется в прикладном своем уклоне, уродуя изначальное и вконец опошляясь, становится некоей шестеренкой, функцией, "колесиком и винтиком дела", не для которого она родилась, а чаще в дерьмо которого ее окунули без спроса. Дав себя изнасиловать в изначалье, уже не принадлежа себе, "добровольно" шутовствуя (возможность такой метаморфозы человеческого пропадения почерпнул у Достоевского), она способна спровоцировать народные страсти-мордасти – чтобы братской кровью обозначить свои дьявольские рубежи заразного распространения по безразмерной географии: от безбожной раскольниковой всепозволительности до солженицынского ГУЛажья – один бесСОВЕСТно-исторический шаг.

Загоскинская патриотическая ориентация совпадает с "упрямоглухим" народным сопротивлением сомнительной прозападной новизне. Человек у Загоскина только "озорует", а не всерьез проникается "антихристскими" идейками: одолели было сомнения окаянные кучера Андрюху, наслушавшегося провокаторских басен о французских соблазнах, да дружный здоровый смех ямщиков над его колебаниями вернул заблудшего к помыслам земным: "Поозорничать не дадут... Все ямщики засмеялись, и пристыженный Андрей не знал уж, куда деваться от насмешек..." (31:63). Любопытно, что категорией "озорства" охарактеризует Достоевский впоследствии тип русского социалиста: да какой он там атеист – он просто "веселый человек"!

Нет паранойи и в отношении "врага": война окончится – и снова веселиться в Париж. Не знал Загоскин "науки ненависти". "Бунтарское" и "почвенное" – две русские духовные устремленности – добрососедствовали в его Музе. Отвергнувшие соблазн прельщения чужебесием, путь "гордости и самонадеянности", приходили к русской триединой правде – неделимому знаменателю Веры, Надежды, Любви: "Кто любит, тот верует: а ты любил, мой друг!" (31:310–11) – подытожил загоскинский Сурский, завещая юношеству единство Веры и Любви.

Народно-монархическое сознание, для которого исходной идей-

ной точкой явилась эпоха Петра Первого, ибо именно тогда было начерно оформлено идейное завоевание России Западом и физическое — шляхетством, — мощный естественный противовес социальному слою" с душою прямо геттингенской". Царь Петр I для Пушкина — "гигант на бронзовом коне", а для Толстого — "зверь". Монархия, прав Л. Тихомиров, уцелела только благодаря народу, продолжавшему считать законом не то, что приказал Петр, а то, что было в умах и совести монархического сознания народа. Народное миросозерцание игнорировало духовную ориентацию монарха, при котором православной церкви было хуже, чем Византии при турках. Разгром русской церкви, начатый при Никоне, как и цареубийства XVIII века, — доосуществили большевики, унаследовав традицию, по которой выходило, что "Царь-Освободитель" — Павел Петрович — сумасшедший, Николай Павлович — палкин, а декабристы Муравьев и Пестель — почти святые...

Какие вещие слова в Грамоте ярославцев волжанам (1612 год): "Того всего взыщет Бог на вас, что вы своим развратьем с нами не в соединеньи, да и окрестные все Государства назовут вас предатели своей вере и отечеству; но и паче всего, каков вам дати ответ на втором пришествии перед праведным Судиею?"! Явление русской революции, по мнению Петра Струве, объясняется совпадением того идейного извращенного воспитания русской интеллигенции, которое она получила в течение почти всего XIX века, с воздействием войны 1914 года на народ: война поставила народ в условия, сделавшие его особенно восприимчивым к деморализующей проповеди интеллигентских идей. Извращенное же идейное воспитание интеллигенции восходит к тому, что близоруко-ревнивое отстаивание нераздельного обладания властью со стороны монархии и узкого круга близких к ней элементов отчудило от государства широкий круг образованных людей, ослепило его ненавистью к исторической власти, в то же время сделав эту интеллигенцию бесчувственной и слепой по отношению к противокультурным и зверским силам, дремавших в народных массах. Старый режим самодержавия опирался в течение веков на социальную власть и политическую покорность того класса, который творил русскую культуру и без творческой работы которого не существовало бы и самой нации, класса земельного дворянства. Систематически отказывая этому классу, а потом развившейся на его основе интеллигенции во властном участии в деле устроения и управления государством, самодержавие создало в душе, помыслах и навыках русских образованных людей *психологию и традицию государственного отщепенства.* Это отщепенство и есть та разруши-

тельная сила, которая, разлившись по всему народу и сопрягшись с материальными его похотями и вожделениями, сокрушила великое и многосоставное государство.

Ленин-Ульянов, продолжает Петр Струве, мог окончательно разрушить великую державу Российскую и возвести на месте ее развалин кроваво-призрачную Совдепию потому, что *в 1730 году отпрыск династии Романовых, племянница Петра Великого, герцогиня курляндская Анна Иоанновна победила князя Дмитрия Михайловича Голицина* с его товарищами-верховниками и добившееся вольностей, но боявшееся "сильных персон" *шляхетство и тем самым заложила традицию утверждения русской монархии на политической покорности культурных классов пред независимой от них верховной властью.* Своим основным содержанием и характером события 1730 года имели для политических судеб России роковой предопределяющий характер.

Монархическая власть, самодержавие победило тогда конституционные стремления и боярской аристократии, сильных персон, и среднего дворянства, шляхетства. И как самодержавие победило эти общественные силы? Опираясь на физическую воинскую силу дворян-гвардейцев, позднейших лейб-кампанцев, т. е. опираясь на солдатчину (солдатеску), непосредственно заинтересованную в торжестве монарха над сильными персонами и шляхетством. При этом была использована рознь между двумя только что названными элементами. С другой стороны, весьма важно и то, как были смягчены и преодолены конституционные стремления шляхетства. Достигнуто это было удовлетворением некоторых его весьма жизненных интересов. Переворот 1730 года не дал политических результатов, был государственным фиаско шляхетства, но его отражение в императорском законодательстве ближайшей эпохи несомненно и весьма существенно шло навстречу шляхетским интересам. *Таким образом, самодержавие, отказав культурному классу во властном участии в государстве, вновь привязало к себе этот класс цепями материальных интересов, тем самым отучая его от политических стремлений и средств и приучая к защите своих интересов помимо постановки и решения политического вопроса.*

Дальнейших ход политического развития России определился событиями 1730 года. Верховная власть в течение XVIII и XIX веков окончательно осознала себя как силу, независимую от "общественных", сословных в то время, элементов и отложилась в такую силу. А общественные элементы за это время одной своей частью привыкли государственную власть мыслить только в этой независимой от "общественных" элементов форме и всю свою психологию *приспособили* и *принизили* до такой государственности. Другой же своей

частью они все больше и больше отчуждались от реального государства, ведя с ним постоянно скрытую, подпольную, а временами открытую революционную борьбу. Это отщепенство от государства получило с половины XIX века идейное оформление, благодаря восприятию русской интеллигенцией идей западно-европейского радикализма и социализма.

Что могла предложить русскому народу интеллигенция, будучи сама идейно развращенной?! Корни русские все стремились к почве, христианской гармонии, "иконе", когда руки бунтарского начала русскости потянулись к "топору". Сбылось пророчество Лермонтова:

Настанет год – России черный год –
Когда царей корона упадет,
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платом из хижин вызывать;
И станет глад сей бедный край терзать,
И зарево окрасит волны рек: –
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож.

Рабочий у поэта Николая Гумилева, занятый отливанием пули, наконец-то вернул интеллигента к почве, "породнил его с землею"! Пробовал превозмочь тягу земную богатырь Святогор – надорвался, погиб. Одних, как протопоп Аввакум, не оторвать было от старины: "Господи, – стонал он, – не стану ходить, где по-новому поют, Боже мой!" Так и сожгли этого ревнителя старинных русских верований живьем на костре, при царе Федоре. Другие же – воплощение "топорной" крайности духа – уже с былинных времен замахивались на закон-дышло: даже добрый богатырь Илья Муромец готов был, осерчав на князя, "сбивать с церквей золоченые маковки – на пропив голи кабацкой!" Конечно же, россияне – не сонмище ангелов. Сами виноваты. Бога прогневили: "Божиим попущением за бесчисленные наши всенародного множества грехи над Московским Государством на всей Великой Российской земли учинилась неудобьсказаема напасть" – видно из Грамоты патриарха Гермогена. Микробы большевизма не только иностранной

"прописки", но в какой-то степени и русского наследия. Не случайно в своей статье о русской революции в сборнике "Из глубины" Петр Струве винит за нее не "старый порядок", а больше "нравы народа", или "всю общественную среду", которые отчасти в известных границах даже сдерживались именно порядками и учреждениями этого самого "режима". Революция, низвергшая "режим", оголила и разнуздала Гоголевскую Русь, обрядив ее в красный колпак, и советская власть есть, по существу, – продолжает Струве, – николаевский городничий, возведенный в верховную власть великого государства. В революционную эпоху Хлестаков, как бытовой символ, из коллежского регистратора получил производство в особу первого класса, и "Ревизор" из комедии провинциальных нравов превратился в трагедию государственности. НО ТО, ЧТО У ГОГОЛЯ И ЩЕДРИНА БЫЛО ШАРЖЕМ, ВОПЛОТИЛОСЬ В УЖАСАЮЩУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ.

Как с камнем в центре снежный ком с крутой горы – страшен русский бунт. Поэтому опасная затея новомодников подливала масла в огонь. Вот и рождались борцы за национальное. Кстати, одним из первых защитников русского стали обрусевшие немцы: Фонвизин и Хемницер. Вот, например, басня последнего "Метафизик". Суть ее проста: "В метафизическом беснуясь размышлении", не видя ничего вокруг, юный философ "шедши оступился" и в яму свалился. Отец бросает ему веревку (аллегорическая "соломинка спасения") – хочет из беды вытащить. Рефлектирующий же недоросль все вопрошает: "А что такое веревка?" – "Вервие простое! На это б выдумать орудие другое, да время надобно, – отец ему в ответ. – А время что? – А время вещь такая, которую с глупцом не стану я терять. Сиди, – сказал отец, – пока приду опять".

Мораль сей басни такова: только испытанным старым способом и можно выбраться из ямы умственного "беснования".

В обоих "Рославлевых" – загоскинском и пушкинском – фигурирует по Полине. Чтобы понять эти характеры – несколько слов об образах русских женщин. Царевна-Лебедь, Василиса Прекрасная и Премудрая (в одном лице), сестрица Аленушка – они лаской и самоотверженной находчивостью, любовью спасут своего героя хоть "с того света". От злой же ведьмы не жди пощады. "Мы, – пишет Николай Бердяев, – не пережили рыцарства, у нас не было трубадуров. В этом ущербность нашего духа. В русской любви есть что-то тяжелое и мучительное, непросветленное и часто уродливое. У нас не было настоящего романтизма в любви". Былины, отбросив сказочное смягчение, впервые подчеркнули со-

перничающую с мужской силу женскую, превосходящую по уму-хитрости грубые и несдержанные мощные силы мужские. Нелепое уравнение, но факт остается фактом. Ведь сама женщина когда-то сказала: "А кто меня побьет в чистом поле, за того мне, девице, замуж идти". Это задорное испытание мужчины на крепость и прочность предстоящих уз семейных впоследствии было извращено в основе своей – применением к формуле эмансипации, вызванной уходом богатырей на покой вечный и медленной "девальвацией" по разным обстоятельствам самой категории мужественности. Мужчина, например у Достоевского, – все еще приковывается к женщине страстью. Но это, – поясняет Бердяев, – остается как бы его дело с самим собою, со своей страстной природой. Он никогда не соединяется с женщиной. И потому, быть может, так истерична женская природа, так надрывна – она обречена на неполную слиянность с природой мужской. Не отсюда ли идет безвыходный трагизм любви? Женщина, в таком случае, невольно может взять на себя мужскую инициативу, компенсируя свое вынужденное несчастье чем угодно, любым хобби, как пушкинская Полина – политикой. У Достоевского женщины всюду вызывают или сладострастие или жалость. При всем при том, женская сущность, думается, хоть принимай любые умозрительные программы, специфически постоянна.

Рославлев – "добрый малый". В нем горячка чувств в стиле мелодраматических приливов к сердцу и отливов к голове. Для него измена Полины – досадно-горькое недоразумение, но не трагедия. Ведь и любовь к ней придумала в основном его пылкая фантазия, подогретая вдобавок сестрой героини. Полине не удалось его "отговорить от себя", поэтому и возник весь "сыр-бор", с традиционным счастливым концом. Мельчали характеры, выветривался былинный дух, история окапывалась деталями, а литература воспевала чаще проходящие мелочи, критика же – "погрешности противу языка и костюма". Стихию кипящих страстей вернет литературе Достоевский, за что прослывет он "жестоким". А самый добрый богатырь русский, Добрыня?! Он мучительно медленно казнит свою согрешившую в юности жену: сначала отсек губы с носом ("эти-де губы мне не надобны, они целовали Змея-Горынища"), потом руку, ноги и, наконец, голову! Жестокость века "непросвещенного"?! – скорее, гремучая доблестная смесь скифов с амазонками (Геродот утверждал, что "сарматы" – предки славян произошли от этих браков), порой столь огнеопасная, что без "охраны" Загоскиными легко воспламеняется.

Увлеклись "некрасовскими женщинами", от декабристов чуть ли не к партизанкам услужливые критики дорожки протоптали,

Полину пушкинскую в прабабки самого Его Величества Патриотизма записали, вялость сбросивших тургеневских героинь – туда же. А ларчик просто открывался: душу переворачивающий плач Ярославны подменился, как увидел Синявский, пушкинскими беглыми зарисовками, в которых выведено на поэтический стриптиз самое "вещество женского пола" в его щемящей и соблазнительной святости, фосфоресцирующее каким-то подземным, чтоб не сказать – надзвездным, свечением (тем – какое больше походит на невидимые токи, на спиритические лучи, источаемые вертящимся столиком, нежели на материальную плоть). Не плоть – эфирное тело плоти, ее Психею, нежную ауру поймал Пушкин, пустив в оборот все эти румяные и лилейные ножки, щечки, персики, плечики, отделившиеся от владелиц и закружившиеся в независимом вальсе, "как мимолетное виденье, как гений чистой красоты".

На "историзме" повисли ученые и помешались советские педагоги, приняв крикунью-обличительницу "немытой России", пушкинскую Полину, за "родоначальницу героических женских образов". Забыли партийные литераторы о Марковне – верной голубке упрямого святого мужика Аввакума. Она задолго до декабристок наглоталась сибирского снега, разделяя мытарства ссыльного "во глубину сибирских руд" непокорного вождя раскола русского верования. Когда его жена, упав в изнеможении на снег, спрашивала: "Долго ли еще муки сея, протопоп, будет?" – муж отвечал: "Марковна, до самыя смерти". Она же, вздыхая, отвещала: "Добро, Петрович! Ино еще побредем!"

"Просвещенность", как известно, – не само собой разумеющийся выход к нравственности. "Не женщины любви нас учат, а первый пакостный роман" – даже, видно, наоборот. Женскую духовность охраняет их внутренний стыд. Не потому ли замужние женщины, начиная с жены князя Владимира, княгини Апраксеевны, атаковывались почти исключительно б е с с т ы ж и м и и б е с ч е с т н ы м и "змеями горынычами". В "просвещенные" времена об изменившей женщине принято лицемерно думать, что она просто ушла "своим ходом", "разошлись, как в море корабли". Все та же схема ухода: "к себе" (если не ради любимого покинула нелюбимого), "к другому", "просто так" (категория, чаще всего, временного порядка). Некую модификацию "третьего пути" – выход на модернизированную нравственность нового типа – указал, смею предположить, своей героине Полине Пушкин. Третий – лишний, искусственно счастливый, силящийся подменить место мужчины зачастую надуманными заботами на общественном поприще. Впрочем, для переутомленного мелочами человека поверхность,

а не жить "по слову Божьему" – житейская норма. Татьяна Ларина выглядит жертвой святого, но "немодного" уже долга. Проекция развития образа пушкинской Полины – неограниченных возможностей: героиня способна занять место по одну из сторон государственного порядка (в темнице – как *первая диссидентка;* на доске почета одного из "опорных пунктов" милицейской панорамы в СССР – как активный доброволец по наведению общественного порядка). Или же могла бы стать "общественным обвинителем" – типа Зои Кедриной – на процессе Андрея Синявского. Или же – коль стремится в неприятельский лагерь – замученной комсомолкой Зоей или бесплатным агентом-идеалистом. И Полину пушкинскую, как и Онегина его, можно вести куда угодно. Безразмерное отщепенство.

Загоскин же далек от пушкинского скольжения по бурной поверхности жизненного разлива. Пушкин, хотя бунт и революция ему тоже никогда не нравились, не может не воспевать, будучи по натуре горячего темперамента и озорного ума, – волны: за радужную пену, дарующую воображению искристые брызги, иногда так похожие на скатывающиеся с лезвия топора капельки крови; само же топорище при этом опускается и подымается – по "настроению" порыва шквального ветра (очередного поветрия). Но беспечен пловец, глотающий хмель стихии свободной в свинцовых волнах штормового моря. Не потому ли, видя гибельную угрозу "экстравагантному купальщику", Загоскин как бы заклинает, магнетизируя совесть волны, не накрыть "играющего с бурей", играющего в бурю – прозрачной гробовой ее крышкой: увлеченного ложной верой в безопасность "выходок" в пучине бедственной страны. "Вернуться в берега", не то – гибель физическая лихачу лжегеройства, а там, на пустом-то месте, не за горами и воцарение торжествующего хамолюда "на обломках самовластья". Конечно, это не урок по "науке страсти нежной", но иначе не мог поступить *Загоскин – антипод Пушкина.*

Вспомним рассуждение о бунте из лермонтовского "Вадима" (ч. 1, гл. 14). Слух о нем – вздор ("как это может быть?"). Такая беспечность погубила многих наших прадедов; они не могли вообразить, что народ осмелится требовать их крови: так они привыкли к русскому послушанию и верности. И вот восставшая толпа перед монастырем. Картина была ужасная, отвратительная. Наконец сомневающийся герой, Борис Петрович, осознал, что такое бунтующий люд: "...Камень, висящий на полугоре, который может быть сдвинут усилием ребенка, но несмотря на то сокрушает все, что ни встретит на своем безотчетном стремлении. Тут он увидал

бы, как мелкие самолюбивые страсти получают вес и силу оттого, что становятся общими; как народ, невежественный и не чувствующий себя, хочет увериться в истине своей минутной, поддельной власти, угрожая всему, что прежде он уважал или чего боялся, подобно ребенку, который говорит неблагопристойности, желая доказать этим, что он взрослый мужчина...". "Пустыня будет нашим отечеством, Юрий...: русские дворяне гибнут и скрываются в лесах от простого казака, подлого самозванца, и толпы кровожадных разбойников...".

Пророчество предварило действительный ход истории в России. У Лермонтова уже есть атмосфера пропасти, в которой висящий камень даже от усилия ребенка (а если – от ленинской искры?!) грозит провалить Русь в тартарары. Представлена и отступающая "белая гвардия" (дворяне гибнут и скрываются в лесах) и "просомневавшаяся" интеллигенция. Тут и Михаил Булгаков, и Борис Пастернак со своим Живагой.

Пушкин тоже "свободною душою закон боготворил", но был при этом не постоянен чему-то одному, откликаясь, как большой оригинал в "Ревизоре", "на все сразу". Если Загоскин – убежденный пацифист, признающий "дубину народной войны" только на время отпора захватчикам, то Пушкин в 30-е годы – неудачный "государственник", одумавшийся гражданин, одергивающий либералов. Он с головой ушел в политику и по нужде в житейскую возню, от которой так и не удалось сбежать до гибели.

Копнем глубже пушкинское отношение к бунту. Например, в шестой главе "Капитанской дочки", под названием "Пугачевщина", он писал от имени Гринева: "Лучшие и прочнейшие *изменения* суть те, которые происходят от улучшения нравов, без *всяких* насильственных потрясений". Почти то же было у него и в статье "Путешествие из Москвы в Петербург" (Радищев наоборот): "Лучшие и прочнейшие *перемены* суть те, которые происходят от *одного* улучшения нравов, без насильственных потрясений *политических, страшных для человечества".*

Заметно, что с исчезновением слова "всяких" улетучивается нейтральный гуманизм первоначальной посылки. "Перемены" не гарантируют "изменений". Они могут быть к лучшему, но не являются еще "прочнейшими", ибо в самом слове есть неполнота завершенного действия. Перечеркнуты "измениня" (качественно новая структура) ради некоторых "перемен" (поверхностного преобразования). "Прочнейшие" от одинехонького – не очень убедительно, скорее баснословно. В самой конкретизации сквозит уступительная оговорка: не всяких, а только политических; не всевозможных политических, а только страшных для человечества. Тогда

не помешало бы и уточнить смысл, вкладываемый в слова "политических", "страшных". Фраза в новой редакции удлинилась соответственно уничтоженному первоначальному содержанию. В разбавлении концентрации – сужение, снижение, актуализация и даже дискредитация "случайно" выпорхнувшего было "недоразумения". В результате первоначальный смысл фразы снят: пожонглировал – и на попятную. И речь здесь идет о нравственной формуле, которую Пушкин не хотел бы упустить (коли воспользовался ею во второй раз), как и оставить "нетронутой"; вот и переворошил он ее до неузнаваемости, а с расстановкой акцентов – как бы исчезла сама целесообразность выдвижения заявки, обессмыслилась нравственная посылка; случилось такое, как если б нравственная категория имела не самоцельное значение, а лишь дежурное применение, отпадающее по мере надобности. Неделимая устойчивость нравственная – суть загоскинского мироздания, в котором нет места манипуляциям с неразложимым для русских понятием совести. Схематически разница меж ними: как "центробежного" (движение сил от центра к периферии) от "центростремительного" (движение от периферии к центру). Один – разброс во вне, актуальное; другой – "как женщина", все лучшее для плода. Позиция Загоскина, в таком случае, нравственна "абсолютно", а Пушкина – "относительно", при условии, что нравственность делится на составляющие ее, и пафос формулы этической в переработанном виде хоть чем-то пригодится не целиком всему, так хоть частице целого. Частичная, "облегченная" этика.

В плане дальнейшего сравнения представляемых нашими писателями двух духовных ориентаций, посмотрим, оставив в стороне логическую советскую "аксиому" Загоскин-"государственник" (всем и так ясно!), а был ли им Пушкин – загоскинский а н т и - п о д?

Граф Е. Е. Комаровский рассказывал, что во время польского восстания он как-то встретил на прогулке Пушкина, угрюмого и взволнованного. "Отчего Вы невеселы, Александр Сергеевич?" – спросил граф поэта. "Да все газеты читаю". – "Что же такое?" – "Разве Вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году!" – ответил Пушкин (76:385). При первых известиях о польском восстании против российского господства Пушкин резко высказался за необходимость скорейшего его подавления и за уничтожение всех привилегий, данных в 1815 году Польше Александром I, образовавшим из этой страны как бы государство в государстве, находившееся с Россией лишь в личной унии. Пушкин ратует за необходимое, по его мнению, полное уничтожение этих "исконных врагов" России путем "истребительной"

войны (высказался именно так 9 декабря 1830 года). Польский национальный патриотизм он называет "погребальным".

По своей лютой трезвости Пушкин в этом вопросе выглядел, как охарактеризовал его поляк Адам Мицкевич, "заматеревшим в государственных делах человеком". "И не совестно ли сравнивать нынешнее событие с Бородиным?" – стыдит приятеля своего, прославившего "шинельными стихами" душителей свободы польского народа, П. Я. Вяземский 14 сентября 1831 года. Однако, видя, что Пушкин не унимается – "опять те же мысли", или, как Вяземский полагает, "то же бессмыслие" и "охота быть на коленях перед кулаком", "святотатственно сочетая Бородино с Варшавою", – он неоднократно пытается убедить Пушкина, что возрождающейся Европе не за что любить "тяготеющую над ней" Россию, являющуюся "тормозом в движении народа к постепенному усовершенствованию нравственному и политическому". Пушкин, как видно, в очередной раз "сбился с пахвей в своем политическом восторге", не поняв, что нравственная победа – после оккупации 24–27 августа 1831 года царскими войсками Варшавы – была, не сомневается Вяземский, на стороне свободолюбивых поляков (20: 212–5). Пушкин громогласно клеймил общественное равнодушие: не как Загоскин – чаще терпимее, а именно с позиций собственника вотчины европейской, государственника прежде всего. И в этом непримиримое расхождение меж сравниваемыми, которые и истолковали свою "общую Полину", одну женскую судьбу – по-разному.

Если в 1822 году, в разгар своих либеральных увлечений, Пушкин благодарил Екатерину "от лица русского народа" (!!!) – "за униженную Швецию и за уничтоженную Польшу", то в письме от 1 июня 1831 года князю Вяземскому он уже подобен законченному палачу: "Их, – поляков, – надобно задушить, и наша медлительность мучительна" ("надобно" – повелевающий "от лица народа" сановник крайне правый; "задушить" – тиран; "медлительность мучительна" – психопатический патриотизм)! Вот как Пушкин сочетал тогда свободу с уважительным признанием, так сказать, светлых догматов жизни! Вот как "нравственная мысль у него сближает категорический императив Канта с непринужденной игрою Шиллера" (1:40). "Пушкин – последний певец империи". Этот тезис повторяется в работах Г. П. Федотова. Но как, в таком случае, это утверждение связать с замечанием Достоевского в одной из его "Записных книжек", что Пушкин – "первый славянофил"?! Поэт воистину безразмерен. А одна из обозреваемых частей его – имперское сознание – мало изучена.

Кто знает, может быть, Пушкин (если верить версии) и посчитал загоскинскую Полину "опошленной" еще и потому (именно потому?), что Загоскин проявил слепую непатриотичность, не поиздевавшись в своем "Рославлеве" над поляками, а напротив того – даже, кажется, защитил их, иначе зачем бы ему "пришлось переплавлять" те главы романа, где речь идет о "поляках 1812 года"; ведь толпа, коли судить об общем настроении по пушкинским сентенциям тех дней, любую враждебную пакость о них проглотила бы с восторгом. В романе же, каким он напечатан, о поляках говорится лишь в двух местах (часть 3: глава 6 и часть 4: глава 5), и отношение к ним в целом нейтральное. Но совершенно ясно, что Пушкин воспринимает и ожидающийся выход в свет загоскинского "Рославлева" через призму польского "бунта", возможно и навязавшую поэту отнюдь не беспристрастную точку зрения на этот роман, "нейтрально-польский" и не "противофранцузский". Ведь как Полина, застывшая перед картой военных действий, так и сам автор Пушкин, упрекающий сограждан в позорном "безучастии" в действиях воюющей родины, – патриотизм понимают не как составную часть общей справедливости, а, скорее, крикливо-националистически.

Справедливости ради отметим, что Загоскин *также* в первом своем романе не избежал трафаретного взгляда на поляков, зато "исправился" в "Рославлеве". Некоторое снижение образа поляка наблюдается и в "Войне и мире". И у Достоевского, например, как подметил критик М. А. Антонович: "Первоначально она (Грушенька) была влюблена – странно сказать – в поляка, пана Муссяловича, который в изображении его автором очень *напоминает пана Копычинского в 'Юрии Милославском'*; и этот представлен таким же глупым, пошлым и трусливым, каким изображен у Загоскина тот. Сопоставив пана Муссяловича с Митей Карамазовым, Грушенька – уверен Антонович, – сразу почувствовала презрение к негодному полячку, отдала предпочтение Мите и любила его всецело и безраздельно до самого конца романа" (6:412). Загоскин "исправился", а Пушкин "продолжал грешить".

Общественные идеалы Пушкина, его теории дошли до нас в неотделанном, разбросанном, почти бессвязном виде. В интересующий нас период Пушкин собирался открыть в современной литературе "эру разработки политических вопросов", как полагал П. В. Анненков, как некогда сделал это Карамзин для своей эпохи в журнале своем "Вестник Европы" (1802–1803). Пушкин принялся "набрасывать программы и конспекты для статей с направлением". Но "Литературная Газета" – основной рупор идей Пушкина – была приостановлена, а когда явилась опять на свет, то оказалась

ненужной, ибо к этому времени Пушкин уже отложил в сторону все планы статей для журнала, перестал думать о них; и, наконец, позабыл вовсе об их существовании (о своем "Рославлеве" вспомнил только через несколько лет). Но, махнув рукой (после запрещения "Литературной Газеты") на проекты статей в этот журнал предназначавшихся (его "Рославлев" – не статейный ли только опус на злобу дня?!), Пушкин не выпустил нити своей политической доктрины, а только как бы перенес ее в повести и рассказы, где она, как красная нитка, и заплеталась в ткань их романтической интриги.

Специфику пушкинской Полины попробуем распознать через самого поэта. В разных местах переписки с друзьями, в статьях и художественных сочинениях можно заметить одну доминанту, неизменно повторяющуюся у Пушкина. Это – политическая доктрина, выраженная в принципах "естественного права" на "боярские привилегии". А поскольку их упразднили предшествовавшие Пушкину русские цари, то и хотелось бы поэту их вернуть. Это его пожизненная знаменосная идея. Удостоенный должности смехотворной при императорском дворе (и то к концу жизни), Пушкин, и до того считавший себя обиженным самой "антибоярской" историей, окончательно поддался обуявшим его страстям, не выполнил обещания, данного императору Николаю Павловичу, что "в случае нового столкновения он предупредит Государя", и в финале жизненного пути навлек, по всей вероятности, на себя тяжелую нравственную вину – самой, как ни страшно подумать, дуэлью: после ранения он реализовал право на выстрел в противника, горя злобной мстительностью, намереваясь его убить (только слегка ранил). Только в оставшиеся три дня короткой жизни, в состоянии крайнего физического страдания, поэт смог до конца пережить глубокое нравственное и духовное перерождение: умирание и смерть его отличались безмятежностью и христианским, наконец-то, смирением.

Политические принципы Пушкина имели двоякую, по мнению Б. В. Томашевского, аргументацию: из оснований естественного права и из исторических соображений. Исторические условия диктовали Пушкину различное отношение к политической обстановке. А принципы естественного права должны были, в чем не сомневался Пушкин, оставаться неизменными в их применении как к России, так и к Западу. При первых же известиях об Июльской революции во Франции Пушкин занял позицию непримиримого конституционалиста. Он требует казни Полиньяка как нарушившего конституционную скрижаль – Хартию 1814 года. Это вполне, полагает Томашевский, соответствует прежде определившимся взглядам

Пушкина. Ведь то, что именуется "революционным" прошлым Пушкина, – его политические произведения 1817–1820 годов – свидетельствуют лишь о сродстве его взглядов с идеологией "Союза Спасения", "Союза Благоденствия" и Северного Общества, являющихся проводниками монархически-конституционного либерализма и в некоторой части не чуждавшихся и принципов аристократического конституциализма (идеи Дмитриева-Мамонова и М. Орлова). Позже он высказал некоторые симпатии карбонариям и усвоил некоторые идеи Руссо но вскоре вернулся к исходным политическим впечатлениям от общения с умеренными либералами Петербурга (65:301–61).

Со своей "боярской колокольни" Пушкин, видимо, смотрел и на личность Петра Первого, отмечая для себя, что царь создал полную систему подчинения всех свободных людей одной службе государству. Это бы и ничего, "простилось", но зачем Петр уравнял всякие чины и звания под одну мерку?! Пушкин огорчен, болезненно переживает и не раз восклицает по этому случаю: "Пора кончать революцию в России!" И следует, как вытекает из его воззрения, создать в лице дворянства сильный оплот против озлобленного класса выходцев из народа, с одной стороны, и помещичьей наклонности – придерживаться азиатских порядков и в них искать своего спасения – с другой, – оплот старого порядка на новый лад, или нового порядка на старый лад. Любопытная комбинация дорогих "суверенных сувениров".

Понятно, что в беллетристическом изложении политическая доктрина могла обнаружить только часть своего содержания, только ту сторону свою, которая обращена была на освещение нравов общества, идей, в нем живущих, и выведенных типов. Набрасывая свои повествовательные отрывки, Пушкин, как полагает Анненков, уже возвышается до степени ядовитого сатирика и негодующего патриота, когда принимается обличать "слепоту" и "пустоту" русского образованного общества, позабывшего "все свое прошлое". Сочувственное отношение к старине здесь выделилось уже в пламенную речь и горячую проповедь в пользу аристократии. Все эти идеи Пушкина, уже во времена Анненкова, никому не казались ни очень новыми, ни очень верными, хотя горячая политическая струя, сама по себе, не позволяет упрекнуть поэта в каком-либо корыстном расчете; однако сама эта теория представляет много спорных вопросов – фантазии из "области благородных мечтаний и великодушных химер".

Вскоре после свадьбы (18 февраля 1831 года), не позднее июня 1831 года, Пушкин заявляет о своем желании служить посредником между правительством и публикой: "Если Государю Импера-

тору угодно будет употребить перо мое для политических статей, то постараюсь с точностью и усердием исполнить волю Его Величества". Он собирался объяснять и разъяснять, усердствовать и толковать всем смысл правительственных мер и распоряжений по развитию в обществе твердых политических идей. *Пушкин по идеологической "охранности" в дни создания своего "Рославлева" равен загоскинскому "русопятству".* Судя по письму поэта к генералу Бенкендорфу (не позже июня 1831 года), он намерен стать официальным консервативным публицистом. Ему казалось, что отыскивать нравственные начала, на которых зиждется русское государство, значит – оградить честь русского ума и народного характера от выходок и диффимаций западного либерализма. Под программой задуманного журнала (для популяризации этих идей) он хотел доставить государственной власти санкцию мысли и свободного анализа. Поэтому теория Пушкина была, в сущности, не что иное, как отражение совместных с В. А. Жуковским патриотических воззрений (вероятно, в Царском Селе оба поэта сошлись ближе в понимании сущности этой объявленной доктрины). "Уважай общее мнение, – учил поэт Наследника русского Стола, – оно часто бывает просветителем монарха; оно вернейший помощник его... Общее мнение всегда на стороне правосудного Государя. Люби свободу, то есть правосудие... Свобода и порядок одно и то же: любовь царя к свободе утверждает любовь к повиновению в подданных" (30).

Так враждебные по натуре элементы – провозглашал одно (боярство), а делал другое (с точностью и усердием выполнять волю Государя) – образовали "теоретическую гармонию", во внешнем проявлении которой встретились в одном "лагере" Пушкин и Загоскин: Пушкин "одумался" и "влез в омут, – как он сам выразился в своей дневниковой записи от 17 марта 1833 года, – где полощутся Булгарин, Полевой и Свиньин"; Загоскин же – каким был, таким и остался.

Пушкина душили противоречия. Он попытался вырваться на волю, но испугался: "И трухнул-то я... С этим поссорюсь – другого не наживу; ...получил от Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой абшид, что я струхнул, и Христом и Богом прошу, чтобы мне отставку не давали... Главное то, что я не хочу, чтобы меня могли подозревать в неблагодарности. Это хуже либерализма". Своей попыткой выйти из "раздвоенности" он только укрепил недоверие к себе. "Перед нами, – съязвил Бенкендорф, – мерило человека...; лучше, чтобы он был на службе, нежели предоставлен самому себе (85:10). Но до конца "исправить" Пушкина, видать, было невозможно, поэтому умирающего поэта царь в

своей записке призвал хотя бы "умереть христианином" (101:36). Консервативная теория воевала в Пушкине с либерально-олигархической. Временный синтез их неминуемо распадался на исходные составляющие этого искусственного соединения, винегрета идей.

Нам же важно, что именно в 1831 году Пушкин был к "направлению" Загоскина ближе, чем когда-либо. И точнее: семь последующих месяцев после брака поэта литературовед Анненков считает "исходным пунктом новой литературной его деятельности". Поэтому по основным мировоззренческим вопросам Пушкин не мог тогда полемизировать с Загоскиным. Это исключалось провозглашенной поэтом декларацией, принципы которой, будучи собранными из разрозненных замечаний воедино, представляют собой основы борьбы с "опасными идеями", но борьбы умозрительной, хотя Пушкин и раньше догадывался о несвоевременности "для Москвы того, что нужно Лондону" – о том, во что Загоскин глубоко верил: о целесообразности для России "другой мысли, другой формулы", отличных от идей и пути "остальной Европы" и не выводимых из гизотовской Истории христианского Запада (осень 1830 года: Наброски замечаний на "Историю" Полевого).

Если для Загоскина нравственность – все, то для Пушкина, как мы узнаем из его заметок на полях статьи П. А. Вяземского "О жизни и сочинениях В. А. Озерова", – "ПОЭЗИЯ ВЫШЕ НРАВСТВЕННОСТИ" – или по крайней мере совсем иное дело". Пушкин, говорят, даже цыкал на вменяющих поэтам в обязанность согревать любовию к добродетели и воспалять ненавистью к пороку. Поэту главное в жизни "блестеть"; у него, заметил одним из первых директор Лицея Е. А. Энгельгардт, "совершенно поверхностный, французский ум". Пушкин любил, вслед за Мериме, в общем "только анекдоты" в истории. Пушкин, уточняет исследователь его творчества П. В. Анненков, "никогда не занимался философскими выкладками". Хотя, конечно же, он много читал и от общения с друзьями мог черпать не меньше, чем из книг. Посему вряд ли прав академик М. П. Алексеев, полагающий, что Пушкин "по-шекспировски задумывался" над проблемами "индивидуальной больной совести и общественного блага". Задумываться ничто не мешало ему и по-Божески, да жил чаще совсем иначе.

Любопытно, что в 1830-х годах Н. В. Кукольник был провозглашен Сенковским, в противовес Пушкину, поэтом-гением, первым русским литератором, и тоже не обошлось без сравнений с Гете и Шекспиром. Мы же знаем, что даже "задумываться" о Шекспире на Руси стало возможным скорей всего уже после того, как Вальтер

Скотт познакомил французов с его гением. Не видно у Пушкина цитатного заимствования из "оригинала". И в дневнике последних лет Пушкин ни разу не вспомнил о Шекспире. Однако положительное влияние Шекспира на Пушкина отстаивается: "Шекспир переставал быть источником только литературных или театральных воздействий; он становился теперь также мощным импульсом идейных влияний, проблемой мировоззрения, содействовал выработке представлений о ходе истории, о государственной жизни и человеческих судьбах" (2:248–9). Что-то по "Рославлеву" перечисленного академиком Алексеевым совсем не видно. Не убеждает и тот факт, что Пушкин якобы предлагал взглянуть своему другу А. А. Дельвигу на уже подавленное восстание декабристов "с той же широтой взгляда на исторический процесс, с тем же пониманием социальных конфликтов в неизбежности жизненной борьбы, какое, с его точки зрения, всегда отличало Шекспира (2:248). Француженка мадам де Сталь подарила поэту сравнение России 1812 года с "многосложной шекспировской исторической хроникой". Однако эта дареная неожиданная параллель едва ли присутствует в "Рославлеве". Могла ли Сенатская площадь вывести Пушкина вдруг на Шекспира? Не широту взглядов, а все ту же свойственную поэту двойственность отношения к декабристам оставил нам Пушкин: "Не мы ли здесь вчера скакали, / Не мы ли яростно топтали, / Усердной местию горя, / Лихих изменников царя?" – писал поэт на другой день после 14 декабря, п о п у т н о с ободряющим посланием в Сибирь! Даже то, что поэма "Анджело" – переделка пьесы Шекспира "Мера за меру" – это всего лишь решение вопроса для себя: как нетерпимость к порокам других может уживаться с собственным падением. Выработка тактики благочестивого поведения.

Общей для Пушкина и Загоскина была характерная для русской мысли особенность: преследование преимущественно задач "практического разума", даже тогда, когда она уносится в заоблачные высоты метафизики.

В литературе извечна борьба "архаистов" и "новаторов"; только во времена общественного идиотизма – тишь да благодать (ср. бесконфликтный по серьезному счету некий соцреализм). Полемическое ожесточение противоборствующих сторон нарастало до 1830-х годов. Комедии Шаховского и особенно Загоскина подвергались нападкам в "Сыне Отечества", правда, пока еще с точки зрения "чистоты", "благородства языка" и "правильности" построения. Загоскин, в свою очередь, вылавливал "дурные" и "шероховатые" стихи в "Молодых супругах" Грибоедова. Грибоедов от-

вечал иронией по адресу "светского тона" Загоскина, прозрачно намекая при этом, что не только "тон", но и "вся беседа" перенята у Буйного соседа ("Лубочный театр" – намек на поэму В. Л. Пушкина). И Загоскин не остается в долгу: в "Рославлеве" противопоставляется "не там ищущему" Чацкому метод обнаружения истины "в самом себе".

А как Пушкин воспринимал "Горе от ума" Грибоедова? Он находил много ума и смешного в стихах, но во всей комедии – ни плана, ни мысли главной, ни истины. Чацкий, по его мнению, совсем не умный человек – но Грибоедов очень умен. Однако из письма к Бестужеву следует, что, слушая Чацкого, Пушкин не осуждал ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова. Цель его – характеры и резкая картина нравов. Чацкий – пылкий и благородный молодой человек и добрый малый. Но кому говорит он все это? – Пушкин не понимает и считает это говорение непростительным ляпсусом, ибо первый признак умного человека – с первого взгляда распознать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловым.

Двойственная оценка. Сначала Чацкий показался Пушкину совсем неумным и вся комедия плохой ("ни плана, ни мысли главной, ни истины"), ибо взглянул он со стороны занимательности сюжета и цельности впечатления, а Грибоедов, увлекшись этическою стороною своего произведения, пренебрег художественными требованиями. Состоялась хвала уму Грибоедова – за резкую картину нравов; характеры, за редким исключением, приняты Пушкиным со значительными оговорками. Это в свое время почувствовал А. В. Луначарский, выделив понравившийся Пушкину обличительный смысл комедии Грибоедова: он-де не комедиограф, но великий пророк типа Иеремии, который выходит на площадь, чтобы сказать страшную правду о своей горячей любви и о ненависти ко всему тому, что являлось позором для его родины. Поэтому комедия как форма для Грибоедова была довольно второстепенна.

Главенствовала обличительность, резкая критика нравов, и пушкинская Полина подсказывает Толстому воздвигнуть ораторскую трибуну в салоне Анны Павловны Шерер. Но трескучая обличительность не в духе Загоскина, как и Толстого (например, в переписке княжны Марьи и Жюли Карагиной нет ни государственной, ни общественной идеи). Кстати, интересное мнение было высказано в свое время по поводу разногласия между Пушкиным и Грибоедовым: это "произошло от различного понимания слова "ум"... По представлению Грибоедова, ум всегда соединяется с благородством сердца..." (74:119). Если "французский ум" Пуш-

кина резко увел загоскинскую Полину из сферы мучительно-тяжелой русской любви в атмосферу светского флирта с идеями времени, то вполне естественно в таком случае посчитать поэтическую суть нравственности самого Пушкина кодексом облегченного благочестия.

Итак, споры в литературе были всегда. Но в 1820-х годах они еще мало связаны с идеями и почти не служат пока никакой предвзятой теории. "Шишковисты" (сторонники А. С. Шишкова, которых уже в то время часто называли "славянофилами" или "славенофилами") дебатируют с "карамзинистами" или "беседчики" с "арзамасцами", но не "дерутся" между собой, ибо не сформировались окончательно боевые литературно-общественные лагеря. Кажется, до 1830-х годов не было в России "литературных партий" в строгом смысле слова. И в начале 1830-х годов эти партии пребывают в эмбриональном состоянии. Люди, уже почти готовые вступить в борьбу и разойтись по совершенно противоположным путям, еще могут составлять о д и н кружок и даже воображать себе, что они способны работать для одной и той же общей цели. Не могло ли такое казаться и Пушкину в отношение Загоскина?

Загоскин был близок к славянофилам, но, по всей вероятности, таковым не являлся. В отличие от них он не считал понятие "народность" – основной критерий при размежевании литераторов того времени – застывшим статус кво в виде "неприкосновенной и всеобъемлющей" формулы, которая "раз и навсегда определяла бы дальнейший ход развития нации". В "Рославлеве" подтверждается как раз наоборотное: русский национальной жизни самой еще предстоит развиваться и совершенствоваться до высоты общечеловеческого содержания, которое одно может довершить ее достоинство и историческое значение. Так что сходство лозунга "народность" еще не означало адэкватности содержания, вкладываемого в это понятие Пушкиным и Загоскиным. "Для всех, – пишет А. Н. Пыпин, – народность означала самостоятельность, которую все понимали различно" (71:19), хотя и те и другие, несомненно, хотели пользы своей отчизне.

Поскольку с судьбой романа в стихах "Евгений Онегин" связан в какой-то степени "Рославлев" Загоскина, посмотрим: кто (кроме Загоскина) и за что именно мог критиковать это творение Пушкина?

Когда не было красок под рукой и неоткуда было их взять, восторжествовала "мелкая материя", "крохоборческое искусство детализации раздулось в размеры эпоса", хотя и было ясно, что не в тонком "разнюхивании обеденного меню у Онегина" – правдивое

отображение эпохи. От устаревшего Карамзина русская проза, по верному замечанию Вяземского, к 1830-му году ушла "не вперед, и не назад, а вкось". Хотя принято считать, что только "булгарины" (как теперь Андрей Синявский) могли "клеветать" на Пушкина за "Онегина", например, однако это не совсем так. Убедимся же, с каким грузом критических замечаний современников в адрес "Онегина" Пушкин приступил к наброску своего "Рославлева".

П. А. Вяземский даже в любовном письме Татьяны местами находит "противумыслие!" и отсутствие истины.

П. А. Катенин: "есть погрешности".

Е. А. Баратынский, уже зная восемь глав "Евгения Онегина": "Форма принадлежит Байрону, тон тоже. Множество поэтических подробностей заимствовано у того и у другого. Пушкину принадлежат в 'Онегине' характеры его героев и местные описания России. Характеры его бледны. Онегин развит не глубоко. Татьяна не имеет особенности. Ленский ничтожен... Нет ничего такого, что бы решительно характеризовало наш русский быт... Почти все подражательное".

В. В. Кюхельбекер: "В письме Онегина к Тане есть место, напоминающее самые страстные письма St. Preux, от слов: 'Боже мой! Как я ошибся, как наказан!' до стиха: 'и я лишен того' (кажется, даже кульминационный момент несостоявшегося "раскаяния" заимствован. – Е. В.)... Не очень понимаю 'упрямой думы' ".

А. А. Бестужев (Марлинский): "Поставил ли ты его (Онегина) в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты?.. Ты схватил петербургский свет, но не проник в него. Прочти Байрона; ...у него даже притворное пустословие скрывает в себе замечания философские, а про сатиру и говорить нечего... Вовсе не завидую герою романа. Это какой-то ненатуральный отвар из 18-го века с байроновщиной".

Н. М. Языков: "Мысли, ни на чем не основанные, вовсе пустые, и *софизмы минувшего столетия* очень видны в 'Онегине' там, где поэт говорит от себя; то же в предисловии".

Д. Е. Веневитинов: "Я не знаю, что тут народного, кроме имен петербургских улиц и рестораций. И во Франции, и в Англии пробки хлопают в потолок, охотники ездят в театры и на балы... Я полагаю народность не в черевиках, не в бородах (козырной аргумент пушкинской Полины, раздувающей из подчеркнутого внимания залетной путешественницы мадам де Сталь к "народным бородам" – ура-патриотический угар в салоне. – Е. В.)... Не должно смешивать понятия народности с выражением народных обычаев".

Н. В. Гоголь: "Он хотел было изобразить в 'Онегине' современно-

го человека и разрешить какую-то современную задачу – не мог... Поэма вышла собрание разрозненных ощущений, нежных элегий, колких эпиграмм, картинных идиллий... *на все откликнувшегося поэта".* Может быть, у Пушкина здесь только заготовки списанных с натуры "летающих" черт духа первой четверти XIX века, перенесенные в сыром виде в повествование, в котором не ощущается намерение поэта заняться изображением самих лиц? Ведь еще ранее 1825 года Пушкин уже мечтал сделаться летописцем последних годов Александровской эпохи и уже начал писать заметки о странном и любопытном времени. И рассказчица в его "Рославлеве" косвенно подтверждает это: "Жаль: тогдашнее время стоило наблюдения".

Крупнокалиберную пальбу по "Онегину" осуществил критик Д. И. Писарев. Он резкой насмешкой и убийственной иронией своего как бы "хирургически-прокурорского" метода анализа не оставил никаких возможных лазеек для усматривающих в "Онегине" "энциклопедию русской жизни". Вопросы поставлены им ребром и, хотя режут слух беспощадной правдой, не учитывающей исторического момента – беспомощности в целом русской прозы, – но остаются, хотя бы для профессора Синявского, нетленным образцом и сегодня.

Вот несколько из отмеченных Писаревым моментов. Почему Пушкин не представил в доказательство "каких-либо убеждений у этих двух праздношатающихся джентльменов... ни одной такой беседы"? "И если о разумном взгляде на женщину не имеет никакого понятия геттингенская душа, читающая Шиллера и поклоняющаяся Канту, то... какая же разница существует между геттингенскою душою и душою вятскою или симбирскою?' "Татьяна... какие это речи так понравились Татьяне и какое слово она желает молвить Онегину (?) Но, к сожалению, нам достоверно известно, что Онегин не мог говорить старухе Лариной никаких замечательных речей и что Татьяна не вымолвила ни одного слова..." И напрашивается вывод: *"Если бы Пушкин* захотел и *сумел изобразить 'не придуманную любовь', всю насквозь 'поддельную' "* – "сумел написать такую главу, то она... обрисовала бы онегинский тип ярче, полнее и справедливее, чем обрисовывает его весь роман".

Даже Чехов (живший у Пушкина, по мнению Абрама Терца, под псевдонимом Белкин) отметил у своего побратима, что в "Онегине" "не решен ни один вопрос".

Знающий народ Глеб Успенский считает Онегина никаким не "народным типом скитальца".

По "дружному хору" разных русских писателей ясно, что "Ев-

гений Онегин" – не столь "безупречное" произведение русской словесности.

И в структурном отношении, как доказал Юрий Тынянов, "Евгений Онегин" скользит по жанру прозаического романа, типа вальтерскоттовского, и романа сентиментального. Это случилось вследствие непрестанных переключений из плана в план. Свободным оказался в результате сам жанр; оказался необязательным, разомкнутым, пародически скользящим по многим замкнутым жанрам одновременно.

"Разомкнутостью" структуры "Евгения Онегина" первым воспользовался поэт А. И. Полежаев. Хотя он учился у Пушкина, их взгляды во многом не совпадали. В своей сатирической поэме "Сашка", написанной не ранее 15 февраля 1825 года (дата выхода в свет первой главы "Онегина") и не позднее июня 1826 года (дата доноса на Полежаева, где приводились выдержки из "Сашки"), Полежаев не только воспользовался формой пушкинского стиха, но и использовал некоторые мотивы и ситуации романа для противопоставления "доброго молодца" Сашки великосветскому дэнди Онегину. Не потому ли места из "Сашки", созвучные "Онегину", нарочно оснащены натуралистическими подробностями, грубой лексикой? Но "Сашка", думается, все же не пародия на "Онегина": на базе чужого материала Полежаев решил собственную творческую задачу – осуществил характеристику героя из разночинцев.

А вот снизит пушкинских героинь почти до пародийного уровня и не Загоскин вовсе, а, мне кажется, И. А. Гончаров – противник романтики предыдущей эпохи, который сам указывал на то, что пушкинская Татьяна и Ольга явились в "Обрыве": Ольга – Марфинька; Татьяна – Вера (хотя они больше ему напоминают евангельских Марию и Марфу, а в жизни – бабушку Татьяну Марковну). Та же самая пара и в "Обломове": Ольга – Пшеницына; Татьяна – Ольга Ильинская. А в "Обыкновенной истории" повторяется ситуация Онегина и Ленского в двух Адуевых. Использована также готовая формула Ленского – в передаче чувства ревности молодого Адуева к графу Новинскому.

Как видно, фактура пушкинского стиха, его образы препарировались на разный лад и в разных целях: Полежаев взял ряд мотивов, ситуацию, форму, сознательно огрубил своего героя для противопоставления его Онегину, однако не пародируя романа в целом. Не этот ли же метод частичного заимствования для достижения своей цели избран и в "Рославлеве", где использована готовая поэтическая формула? Перед нами одна из форм пастиша (pastiche): это литературное произведение, в котором автор подражает стилю и манере другого автора (или авторов), иногда – для

собственной выгоды (тогда это *плагиат*), иногда для насмешки *(пародия)*, иногда для того, чтобы ввести читателя в заблуждение *(мистификация)*, а иногда для собственной забавы и некоторого "упражнения" в языке. Пушкин в своих одноименных набросках сохраняет в любовной интриге (а только эта часть и может серьезно сопоставляться, соизмеряться с аналогичным в романе Загоскина) структуру содержания "Рославлева". Взята им, скорей всего, форма или план загоскинской модели, и втиснуто в готовые "рамки" постороннее, новое содержание, развертываемое в иных условиях, даже в иной сфере: в великосветском обществе. Произведение Загоскина оказалось "перегруженным" чужими затеями. Если бы Пушкин при этом осмеял в е с ь роман Загоскина, сохраняя все на своих местах, то его "Записки" по жанру назывались бы *травестú*. Наш случай поиска возможного "пересечения параллельных" усугублен еще и разностью психофизических конституций сравниваемых людей, их, вне сомнения, разными типами духовных структур – "иранским" и "кушатским" (по терминологии Хомякова).

И у Загоскина, кстати, нашелся "продолжатель". Воскресил его писатель Шишков (1863–1945) – автор "Емельяна Пугачева". У этого "нового Загоскина" – почти по единодушному мнению советских литературоведов – романы были "кумачовыми от крови" и они являли собой пошло-грубый ура-патриотический лубок.

Подведем некоторые итоги. Таким образом, к 1831 году взгляды Пушкина достигли апогея своей "правизны". После 1831 года наблюдаются колебания "левого" уклона. После выхода в свет первой главы "Евгения Онегина" Жуковский предлагает Пушкину занять первое место на русском Парнасе, с одним условием: "...если с высокостью гения соединишь и высокость цели" (59: 147–8). Собрат по перу и взглядам призывает Пушкина к солидности, достоинству: "...Ты только бунтуешь, как ребенок, против несчастья, которое само не иное что, как плод твоего ребячества... Перестань быть эпиграммой, будь поэмой". 7 марта 1826 года Пушкин "капитулировал", написав Жуковскому письмо, в котором обещал больше не "безумствовать". Вот эта попытка "гордого" компромисса: "Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости" (59:335). 11 мая Пушкин в Прошении на Высочайшее имя, поданном псковскому губернатору барону Адеркасу, обязуется "не противоречить своими мнениями общепринятому порядку". Ему к этому време-

ни надоело "глухое" Михайловское, и слышно было, что собирался он бежать за границу. Не потому ли распространяет слух о своей мнимой болезни (аневризме)?! Через три месяца после Прошения его привозят в Москву, и 8 сентября 1828 года состоялось первое свидание опального поэта с императором Николаем (не радуйся нашед, не плачь потеряв). Поэт умер "невольником": с 1828 года он был приписан к полицейскому участку, и надзор не сняли до самой смерти. Власти не верили ему.

Мысль о "пощечине" опостылевшей действительности упорно преследует поэта. Но он этот свой "накопившийся выстрел" протеста разменивает чаще по пустякам. Перечитывая "Лукрецию", довольно слабую поэму Шекспира, Пушкин извлекает из нее урок по выработке тактики в обращении с дамами: "Что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? Быть может, это охладило бы его предприимчивость, и он со стыдом принужден был отступить", – рассуждает он. Каких-то "два утра" он попародировал Шекспира и историю – получился "Граф Нулин". Не исключено, что временами мелькали мысли в его сознании, соображения типа: хорошо бы от Шекспира взять или хотя бы подражать ему в вольном и широком изображении характеров, как за Карамзиным – "следовать в светлом развитии происшествий" (предстоящий ключевой момент завязки "Рославлева"?). Но злободневная всеядность сказывалась. И летописи почитывал зазря: "успел ли я ими воспользоваться, не знаю". Классическую сложную дилемму – Кто царь? Кто раб? – Пушкин решает полюбовно, пополам: вручает царю Борису и Гришке Отрепьеву. Но не от Шекспира идет Пушкин. Видимо, через мадам де Сталь, введшую в гостиные Франции германскую мечтательную музу, ибо находилась эта знатная дама во власти идей Шлегеля. Поэт, по всей вероятности, выкинул из Карамзина сентиментальщину и свел "останки" со шлегелевской идеей национальной драмы. И сам поразился: как лихо ему удалось прошмыгнуть мимо тяжелой и малопонятной классической трагедии. "Я, – констатирует Пушкин этот факт, – бил в ладоши и кричал: ай да Пушкин!" Во время прочтения "Бориса Годунова" 12 октября 1826 года – кого бросало в жар, кого в озноб, волосы подымались дыбом. Когда же напечатали эту трагедию – в начале 1831 года – послышались возгласы недоумения и недовольства, а то и резкого осуждения. Не увидели там ни "возвышенного", ни "эффектного". От скуки и раздражения при чтении оной трагедии, не похожей до сих пор на все напечатанное в России, – признали Бориса "выродком", а женский крик за сценой – "мерзостью". Крылов тут же прилепил к ней анекдот о горбуне. И этот "выродок" явился отцом национальной русской драмы!

Покинул поэт "тюрьму" и перебрался жить к Соболевскому на Собачью площадку, в деревню Ренкевич (Московия). Писал – развлекался. Развлекался – писал. Хотел стать наконец-то серьезным. Увлекся было немецкими теориями, но так и не понял сути в них, хотя и написал вскоре после беседы с императором "Новую сцену между Мефистофелем и Фаустом" (под влиянием Веневитинова). Фауст Пушкина, как царь в разговоре с ним, убивает жестокой рефлексией все личные пушкинские наслаждения и представляет собой "амальгаму из Гете и Байрона". Беспощадный анализ Мефистофеля "демоничен", как сам Пушкин в юности. Носил "антихристской" длины ногти ("вместо ногтей на пальцах когти").

Перекочевал жить в Демутов трактир. Молодость проходит. Она минутами представляется ему рядом ошибок. В армию послужить не взяли. За границу не отпустили. Задумывается, как мог старик Мазепа совратить дочь Кочубея (опыт пригодится, ведь чувствует следы своего увядания "взаперти" душной России). "Проводил целые дни молча, на диване, с трубкой во рту", пока не разрешился предложением руки красавице Наталии Гончаровой. Ускакал с отказом на Кавказские горы. Вернулся ко все еще отрицательному ответу Гончаровой. Опять просится за границу, хотя бы сопровождать посольство в Китай. Но тут и Наташа блеснула бальной ослепительной улыбкой согласия на все. Наталия Николаевна была трепетно прелестной, поражающей совершенством линий. Если в Олениной Пушкин видел "рафаэлевского ангела", то в Гончаровой – не менее как саму Мадонну. Она была москвичкой, и, уже женатый на ней, Пушкин ей признался в письме: "Ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московскою барышнею... А душу твою, – тут же утешил находчивый поэт, – люблю я более твоего лица". Так привычно двойственно и неуверенно намекнул он ей о неполноте счастья с ней той части его души, которая называлась в нем "донжуанским списком".

Ее спокойный и строгий аристократизм, отсутствие пошлости, вульгарного кокетства смущали Пушкина – "600-летнего" аристократа. Он робел перед шестнадцатилетней юностью – первая встреча с Наташей, которая оставалась все еще "надменной, гордой, мучительной девой". "Чтобы удовлетворить ее, – повествует поэт о своей брачной жизни, – я готов ей принести в жертву все вкусы, все страсти моей жизни, все существование, совершенно свободное и полное приключений..." Она еще не проснулась для азартной афроевропейской "профессиональной" чувственности Пушкина. Он же не унимается: уже из-за гроба (пока понарошке) ревнует "блестящую вдову", "свободно выбирающую себе завтра нового мужа". "Скромная до болезненности, мягкая до слабохарактерности, склон-

ная к подчинению чужой воли и к резиньяции, умная, но не умничающая, сдержанная в своих порывах, тихая и кроткая, Наталья Николаевна съеживалась от проявления грубости и резкости и чуждалась всяких бурных проявлений..." Как обман природы: карлик, с лицом обезьяны, обладал богиней. И пекся о ее чистоте нравственной: "в деревне не читай скверных книг дединой библиотеки, не марай себе воображения, женка..." Зато лучшие пушкинские героини непременно "читают", и это составляет "особенную" привлекательность его Полины, которая в деревне принялась и за газеты даже!

И все же превыше всего для него "мятежное наслаждение":

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительней тобою счастлив я,
Когда, склонясь на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна, без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему,
И разгораешься потом все боле, боле —
И делишь, наконец, мой пламень п о н е в о л е.

Утверждают, что кокетство в его Наталии стало развиваться в 1834—1836 годах.

Для нас важно, что в письме к матери невесты накануне официального предложения Пушкин писал, что в согласии Наталии стать его женой он увидел бы только спокойное безразличие ее сердца. И в пушкинском "Рославлеве", названном почему-то Отрывком, "с французского", Наденька подает жениху "безответную руку". Примерно то же самое происходит и с французом Синекуром. Запала в голову поэта ее "холодная рука". А он был мнительным и верил во все приметы. Вот и с аналоя упали крест и Евангелие — во время венчания. Пушкин побледнел так смертельно-сильно, что свеча в руках потухла сама по себе. Но он будто бы успел до этого мистического момента сказать: "Все дурные предзнаменования". Не здесь ли, в церкви Вознесения (ныне — складское помещение), что у Никитских ворот Москвы, биотоки поэта передали свече венчальной, что брак предстоящий — тьма, смерть. Неизбежное представление жены Пушкина ко Двору естественно влекло за собой, согласно понятиям об этикете, и вопрос о положении мужа в светском обществе и делало необходимым так или иначе урегулировать его отношения с придворным миром. Это и было осуществлено пожалованием Пушкину звания

камер-юнкера, от которого поэт не имел возможности и силы отказаться.

Отсюда мелькание в переписке его "проповеди развода"; шутливо, но с большим намеком. Графиня Д. Ф. Финкельмон, дочь Е. М. Хитрово – пушкинской "Лизы голенькой", 25 мая передала свои впечатления от встречи с молодоженами в письме к князю П. А. Вяземскому: "В уме его (Пушкина – Е. В.) отмечаю серьезный оттенок", "у Пушкина видны все порывы страстей", "жена его – прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья"; "у жены вся меланхолия отречения от себя", "страдальческое выражение ее чела". Одним словом, наоборотно утверждает поэт через неделю после свадьбы: он "женат и счастлив" (письмо к Плетневу от 24 февраля). Это не счастье, а жар агонический. Внешне – да, внутренне – нет. Кошки на душе скребут, а на лице улыбка "отпетого". Ему даже кажется, что он "переродился". "Взялся за ум"? Но ведь он – все еще составная часть превалирующей плоти, и перенос ее на любое, кроме женщин, – смерть Дон Жуана. Да, он п р и красоте счастлив. Это видят все в Царском Селе: "...любезен, добродушен...". Но что его ждет за порогом мгновенного торжества?

"Доволен, потому что Государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным" (1 января 1834 года). А сам думает вслух: "Женщине был запрещен вход в Алтарь...". Не забыл свечи потухшей в руках. Ассоциацию по сходству всколыхнула Дашкова, которая вошла в Царский Алтарь в качестве президента Русской академии, за что отругала ее Екатерина. *"А княгиня Дашкова?* – восклицает Полина в "Рославлеве", – *чем я ниже...?"* И Пушкин попутно ей отвечает (февраль 1835 года), забыв, видно, что сам дал ей этот бойкий полемический козырь, "аргумент": "В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже – не покупают. Уваров, большой подлец... большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость... Он начал тем, что *был б...*, потом нянькой, и попал в Президиум Академии Наук, *КАК КН. ДАШКОВА* в Президенты Русской академии..."! Это ей досталось нечаянно – Полине: метил поэт в Уварова, а досталось на орехи и другому. Полина автобиографична: она "лозунговала" в гостиной, когда ее создатель собирался податься в карательную армию на подавление польского восстания. Бойкое поведение рассудочного создания в юбке. Знаменательно слово "нечувствительно" во фразе рассказчицы: "сблизясь с Полиной... *нечувствительно* я стала смотреть ее глазами и думать ее мыслями". Любопытно, что советский "Словарь языка Пушкина" (том 2, с. 857) трактует это слово, взятое в "рославлевском" контексте, как *"незаметно для себя"*. Но на той же странице текста

"Рославлева" читаем: "Не правда ли, что вы находите меня *нечувствительным* в отношении к вашему полу, ибо до сих пор не говорил я вам о всем, что претерпели дамы, находившиеся в нашей армии?". Здесь "нечувствительный" = холодный, безразличный; не то, что в "Словаре". Героиня бежит в неприятельский лагерь от "скупого" письмами жениха с фронта.

Пушкину мешали быть последовательным в "одумывании" неустранимые раздражатели. Вот и Шишков, к лагерю которого относят и Загоскина, – "набил академию попа́ми" (февраль 1835 года). Как это изволите понимать? Похоже, недоволен собой, коли вынужден был присоединиться к общему мнению академиков и 8 декабря 1834 года подписать заранее приготовленное А. С. Шишковым предложение об издании "Краткого священного словаря" А. И. Маслова – проповедника крайнего нетерпения ко всяким хулителям отечества: декабристов, например, сравнивал "поп" с "собаками, взбесившимися с жиру" (но ведь и Пушкин как бы "второй половиной себя" не пощадил их). Тошно поэту быть рядом с людьми духовного звания: они рассуждают "О вере и нравственности христианина" (книга Маслова в двух частях, издана в Петербурге: 1826–1831 годы). Даже "Письма к русским воинам" (Маслова же, 1831) вовсе не в пушкинском вкусе: Полина его вообще не отвечает на письма защитника отечества, наверное, еще и потому, что Пушкин в стадии создания нового салонного языка (нечем говорить!) – что, впрочем, не такая уж и помеха для "героини", легко предающей гласности интимный дух писем жениха, а значит и самого Рославлева. Скучно и тошно сидеть "боярину" рядом с пропахшим кадилом Масловым. Но выдержал-таки раз пять совместные академические отсидки с "попами" (если бы ударение чудом меняло "ближнего"!). Однако не уважили "злые интриганы" кастовой амбиции поэта: 3 декабря 1832 года (предварительно) и 7 января 1833 года (окончательно) одновременно с ним в члены Российской академии были избраны также упомянутый Маслов, Катенин, Языков и, "чтобы не слишком возгордился сею честью, – пишет князь Вяземский, – вместе с ним избран и Загоскин".

Шальнеют "академические" думы: "Некто Карцев, женатый на парижской девке в 1814 году, – развелся с нею и жил с нею розно. На днях (раньше 20 марта 1834 года – уже нет "гарантии", что его Наталия не изменяет мужу. – Е. В.) он к ней пришел ночью и выстрелил ей в лицо из пистолета, заряженного ртутью. Он под судом. Она еще жива". "Он под судом. Она еще жива" – прямо рифмованные "преступление" и "наказание". Черные мысли.

А вопрос важнейший не решен: как уверить правительство в лояльности, верноподданничестве? Как доказать, что его поползновения либеральствующего не опасны устоям Руси? В связи с закрытием "Телеграфа" он высвечивает ожидаемое от него: "Телеграф достоин был участи своей; мудрено с большой наглостью проповедовать якобизм, перед носом Правительства; но Полевой был баловень полиции. Он умудрился уверить ее, что его либерализм пустая только маска". Но пора на бал, на котором, кстати, будет графиня Шувалова — *"кокетка польская, т. е. очень неблагопристойная"*, да и другая бальная дама петербургского света, вроде, не лучше — княгиня К. Ф. Долгорукая, "наложница князя Потемкина и любовница всех итальянских Кастратов". Посему наш "интернационалист" делает исторически-решительный вывод, себя высекая: "Надобно признаться, что мы в благопристойности не очень тверды". Самопокаяние? Но вот вышел Указ об уничтожении права русским подданным пребывать в чужих краях (подтвердился слух от 16 апреля 1834 года), и Пушкин снова взорвался: это "...есть явное нарушение права, данного дворянству Петром III". Но поэт не теряет надежды, что для него сделают исключение и с Богом отпустят на все четыре стороны. Ради этого, если верить его словам, он готов на все жертвы: "Я могу быть подданным, *даже рабом..."*. Однако припадок самоуничижения проходит — и концовка фразы перечеркивает намерение "исправиться": а "холопом и шутом не буду и у Царя Небесного" (10 мая 1834 года). Тут он, пожалуй, выразился под Ломоносова: "Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет" (письмо к И. И. Шувалову от 19 января 1761 года). Чацкий из комедии Грибоедова "Горе от ума" (1824) высказал ту же "сумасшедшую" мысль: "Служить бы рад, прислуживаться тошно". Наш "родов обиженных обломок" поступил не "согласно с видами правительства".

Чуть не пал в своих глазах! Пишет о "милости к падшим" — "Скупой рыцарь". Параллельно задумывается решить вопрос о зависти: как уживаются низкие страсти в сильной душе ("Моцарт и Сальери"). "Каменный гость" — неотступное наказание; проба прикрыться от неизбежного типом Лепорелло и чужой развязкой — авось минует! "Сладил с тещей" и новый 1831 год встретил в хорошем настроении. Но Дельвиг своей смертью напомнил о конце. Но "постараемся быть живы". Остановить мгновение невозможно, однако "одно желание мое, чтобы ничего в жизни моей не изменилось; лучшего не дождусь". Он прикован к Царскому Селу, от мира — спасения в пространстве — отделен холерным карантином вокруг.

На этой даче, по идее, и должно решиться: "быть или не быть". Здесь же Жуковский и Гоголь, не считая дам, любимых и разонравившихся. В целом Жуковский близок ему как консерватор, да чересчур, кажется, из мечтательного пиэтизма выпупилось и торчит религиозно-нравственное устремление. Пушкин сознает себя человеком стародворянской закваски, и консерватизм его не может зависеть от "посторонних влияний" (так многие идеи из Послания к графу Олизару "сами по себе" перешли в оду "Клеветникам России").

Хотят окружающие, знакомые и близкие, видеть Пушкина продолжительно улыбающимся: наперебой спешат порадовать "болельщика" (не в окопах, а на даче) за Русь великую и неделимую. Графиня Ламберт опережает известием о взятии Варшавы А. О. Смирнову ("Вы были вестницею славы и вдохновеньем для меня").

Но карточные долги выплачивать надобно, да и с женой, по его подсчетам, расходы увеличились вдесятеро. Жена – балам, а он – архивам отдают себя: на Черной речке города Петра делает он "вылазки" в архивы, чтобы разобраться с феноменом пугачевщины. Всматривается пристальнее и в Медного Всадника. И он уже летит, отделившись от "Родословной моего героя", и поэт не может ему внушить, что личность пострадавшего не должна выдвигаться вперед (довольно одного намека на былую славу его предков. Мысль сделать из этой статуи работы Фальконета палладиум Петербурга, возможно, сообщилась ему видением наяву князя А. Н. Голицына; но Пушкин из грез выпад против петровской реформы осуществил, правда, тут же нейтрализованный, однако и в усеченном виде замеченный цензурой). 29 марта 1836 года у Пушкина умерла мать. Он поехал в Михайловское похоронить ее и откупить заодно себе могилу.

В самый счастливый, казалось бы, период своей жизни, когда Пушкин "чаще улыбался", чем негодовал, – он познакомился с "Рославлевым" Загоскина и попросил князя Вяземского высказаться об этом романе. Почему Пушкин обратился именно к нему? Можно только гадать на этот счет. Вяземский, как и Пушкин, был "арзамасцем" в юности (вместе они громили Шаховского и Каченовского едкими сатирами и эпиграммами). Загоскин рассматривается Вяземским как сторонник Шаховского. Однако, судя по письму Пушкина к Погодину от 31 августа 1827 года и по заметке в "Литературной Газете" от 15 февраля 1830 года, возникает подозрение, что Пушкину важно найти с помощью Вяземского "софизм", аргумент, зацепку, скорей всего, в уже наметившемся

отрицательном осмыслении "Рославлева". Поэт как бы "априори" знает, на что способен его коллега: критика Вяземского "поверхностна и несправедлива; но образ его побочных мыслей и их выражения резко оригинальны... Даже там, где его мнения явно противоречат нами принятым понятиям, он невольно увлекает силою рассуждения и ловкостью самого софизма...". Для чего же нужен Пушкину т а к о й функционально-определенный советчик?! Для злостных происков против заявившего о себе духовного антагониста? Или – просто поинтересовался, что думает приятель о новинке литературного сезона? Кстати, адресат мог подняться в глазах Пушкина еще и потому, что из всех членов Арзамаса Вяземский был более всего "человеком партии", за что Пушкин в былые годы обозвал его "сектантом" (sectaire). А теперь сам Пушкин очень не возражал бы быть полезным государственно-патриотическому идейному направлению. Увидел "свой свояка" – и спросил.

Но отношение к России разводило наши сравниваемые величины восвояси. Тактически выгодный патриотизм Пушкина смыкался с чаадаевского вида амбивалентным чувством к родине у Вяземского и был прямо противоположным загоскинскому. Вяземский, тоже мечтатель бежать из России, как и Пушкин, в одном из писем А. И. Тургеневу, жалуясь на свое "интеллектуальное заточение" в деревенской глуши Саратовской губернии, рассуждает: "Я... здесь дервенею... Неужели можно честному русскому быть русским в России? Русский патриотизм может заключаться в одной ненависти к России, такой, какой она нам представляется. Другой любви к отечеству у нас не понимаю". Или в другом письме того же времени Вяземский о том же: "Как бы... хотелось прочь убраться лет на десять... Я для России уже пропал и мог бы экспатриироваться без большого огорчения". Пушкин в письме к Вяземскому от 27 мая 1826 года соглашается с ним в принципе, но только не хочет, чтобы иностранцы ругали Россию: *"Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног;* но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство (см. "Гости съезжались на дачу". – Е. В.). Если царь даст мне с л о б о д у, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги... и б..., то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство" (59:352).

Перекличка двух "подконвойных" состоялась. Поданную Вяземским мысль Пушкин подправил пунктиком о невмешательстве иностранцев в их с Вяземским личные дела с властями и Русью, окрылил ее заманчивыми видами и, снабдив приличествующим многоточием "высокоидейный" повод, – подарил свой позыв тела обличительнице русского своей Полине!

Если Пушкин и числился в патриотах, то не "нутряных", а бравурно-гремучих. Повторяем, что Вяземский нетерпим к "милитарному патриотизму" Пушкина, воспевающего ратные подвиги Котляревского и Ермолова – во вступлении к "Кавказскому пленнику", приветствующего суровое усмирение кавказских племен: "Гимны поэта, – внушает Пушкину Вяземский, – не должны быть никогда славословием резни. Мне досадно...: такой восторг – настоящий анахронизм". Тот же, мягко выражаясь, "анахронизм" Пушкин проявит и в мысленной расправе с поляками: летом 1831 года они с Жуковским "в четыре руки" напишут агитку-брошюру в стихах, предваряя броские афоризмы маяковских АГИТПРОПа. В патриотическом восторге Пушкин переборщил слегка, предложив Вяземскому в письме из Кишинева от 6 февраля 1823 года соглядатайствовать, стать чем-то вроде надсмотрщика: "Ты да Карамзин... кому как не тебе взять на себя скучную, но *полезную должность надзирателя наших писателей...".* Без ума Вяземского Пушкин, как сам признался, глупеет: "Твои письма, – пишет он из Михайловского Вяземскому 15 августа 1825 года, – ...нужнее для моего ума... Они точно оживляют меня, как умный разговор, как музыка России"; а 24 мая 1826 года уточнил: "Я без твоих писем глупею: это нездорово, хоть я и поэт" ("поэзия должна быть глуповата" – декларировал Пушкин ранее). В "обмен" на частицу ума Пушкин посылает Вяземскому в марте 1830 года копию с доноса Сумарокова на Ломоносова, которым и воспользовался Вяземский в своей статье о Сумарокове. А пригодился ли Пушкину, при переиначивании им загоскинской канвы в "Рославлеве" № 2, "ловкий софизм", подсказанный неправым Вяземским?

Блестки язвительного остроумия составляли силу пушкинского "французского ума". Чувственность слабо сублимировалась; так она вылилась в патриотическую риторику Полины. Рядом с Пушкиным жили дамы, с которых поэт мог списать отдельные черты при конструировании им образа Полины. Такова, например, Загряжская Наталия Кирилловна, убежденная патриотка, взгляды которой на Петра I (а это важно для поэта) во многом совпадали с пушкинскими. Она негодовала на Петра Великого за то, что он стремился насильственно европеизировать русских, что он "изуродовал Россию, что он был изверг и что все его реформы были только следствием слепой привязанности к иностранцам и необузданной его природы... Ко всему родному русскому не питал никакого почтения" (13:3).

Пушкин тоже нападал на Петра за ликвидацию им олигархических привилегий, но не шел так далеко, как Загряжская, в кри-

тике "прорубленного окна" в Европу, ибо сам был "русским европейцем". Однако яркий пафос ее духовной направленности мог пригодиться поэту-создателю Полины. "Прототип" предстает частенько нетерпимо-восклицающей. Стоило князю Михаилу Павловичу подтрунить над ней ("Разве Вы уверены, что попадете в рай?"), она тут же взорвалась: "Неужели Вы думаете, что я рождена для того, чтобы сидеть и ждать в чистилище". И Полина пушкинская дает сдачи не менее "деликатно": "Глаза ее засверкали. – Стыдитесь, сказала она: разве...". Пушкин познакомился с Загряжской в июле 1830 года. Кстати, известно, что ее интересные рассказы – девять исторических анекдотов – в составе пушкинских "Застольных бесед" ("Table Talk").

Княгиня Екатерина Романовна Дашкова – один из главных аргументов Полины, мечтающей ей подражать. Юная Полина могла не знать, как и сам Пушкин т о г д а, "грязных" подробностей ее вступления на академический престол. Ее неуживчивый характер, болезненное самолюбие, честолюбие, тщеславие, суетность, постоянные стычки с людьми на почве соперничества и соревнования – это видели в ней современники – было близко и темпераменту самого Пушкина, поэтому он мог из лучших побуждений "одарить" Полину этими проявлениями и негативно присутствующими в ней качествами. Ведь Дашкова тоже перессорилась со всеми родственниками, даже с родными детьми, и кончила жизнь в полном одиночестве. Не такая же судьба досталась бы и Полине, не оборви Пушкин записки о ней, – при всем ее экстравагантном шарме?

Другой серьезный кандидатурой в "строительстве" образа Полины могла явиться Александра Осиповна Смирнова, урожденная Россет, или Россети. В 30-е годы она занимала независимое положение среди чопорного светского общества. В нее был влюблен Пушкин. Несомненно умная, независимая в суждениях своих, блестящих, парадоксально остроумных. Лучшие поэты того времени воспевали ее в своих стихах: Лермонтов ("При Вас хочу сказать Вам много..."), Жуковский, Хомяков, князь Вяземский, Мятлев... Законченную поэтическую характеристику Смирновой дал Пушкин в посвященном ей альбомном стихотворении:

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и Двора
Я сохранила *взор холодный,*
Простое сердце, ум свободный
И правды пламень благородный,
И как дитя была добра;

Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло,
И шутки *злости самой черной*
Писала прямо на бело.

Черным по белому сказано: "шутки злости самой черной". Ум, видно, не смягченный добрым сердцем. Этот аспект горделивого противопоставления толпе импонировал особенно Пушкину. Жуковский прозвал Смирнову "небесным дьяволенком". В этой смуглой черноокой южанке находили "севильскую женственность", могущую "ощетиниться" скептическим и язвительным огнем на все. Эта гармония, отлитая в редкий ансамбль, казалась смесью противоречий: для любящих — "сливающихся в какое-то странное, но увлекательнейшее созвучие", для людей нейтральных — диссонансных несводимостей к общему знаменателю. Наша академик в чепце почитывала даже газеты.

К середине 1840-х годов И. С. Аксаков уже более сдержанно характеризует ее, отмечая в ней двойственность: "олицетворенный ум", но и холодность, черствость, эгоизм, высокомерие. "Ее простота и фамильярность имеют в себе что-то оскорбительное, какое-то пренебрежение к вашему мнению и суждению". "Может быть, Гоголь считает ее идеалом русской женщины вот почему: она, не хлопоча об эмансипации... довольно свободна, выше всех этих предрассудков, условий и приличий, давно признанных ложными и смешными, но которые все еще сохраняют над нами власть привычки; все может понять, видеть и говорить, не пачкаясь тем, что видит и говорит, оставаясь чистою, может свободным смехом смеяться всему смешному и стать открытым, не жеманным лицом к лицу с действительностью и природой..." Аксаков отметил в ней также отсутствие "теплоты эстетических ощущений". Его отец, Сергей Тимофеевич, не без оснований, констатировал: "Тут нет и тени ничего обольстительного...: это был мужчина в спальном капоте и чепчике, очень умный, смело обо всем говорящий, но легкий, холодный".

К середине 1850-х годов Смирнова, по отзыву о ней Я. П. Полонского, производила впечатление человека *озлобленного* и глубоко разочарованного, капризного и эгоистического; даже ум ее не мог искупить ее нравственных недостатков; "от этого ума никому не тепло, не холодно; он хорош для разговора. Как славянофилка, она воспитала дочерей своих так, что в них нет *ничего русского;* как христианка, она не заставила горячо и нелицемерно полюбить себя; как русская патриотка, она не могла жить в России" (95:142). По сохранившемуся преданию, Тургенев изобразил

А. О. Смирнову в "Рудине", в лице Ласунской; упоминается она и в "Отцах и детях" – в словах Базарова, что у него тошно на душе, как будто он начитался писем Гоголя к Калужской губернаторше (муж Смирновой был губернатором в Калуге).

Но Пушкин знал Смирнову в блестящую пору ее жизни. Возможно, что они еще в 1828 году встречались в гостиной Е. А. Карамзиной. Летом же 1831 года они, как утверждает сама Смирнова в своих "Записках", "видались ежедневно". Отмечая "пустоту" и "ничтожность" интересов многих представителей официального и светского Петербурга, однообразие толков и разговоров, Пушкин пишет: "Одна См[ирнова] по прежнему мила и холодна в окружающей суете...". Наталия Николаевна серьезно ревновала его к "черноокой красавице".

Как много в пушкинской Полине "от Смирновой": независима среди чопорного света, суждения остры, "бесповоротны"; поэты и ей посвящали "стишки" ("...стишков, поднесенных ей московскими стихотворцами"); "*нечувствительно* я стала смотреть ее глазами"; "правды пламень благородный"; "смеялась над толпою вздорной"; читала даже газеты... Отсутствие теплоты, даже что-то "оскорбительное" в ее специфической женственности. С годами – чем не развитие судьбы Полины?! – черты характера ее усугубляются в худшую сторону, и Базаров плебейски-бесцеремонно, как и самого Пушкина, впрочем (такова его нигилистическая платформа), – "выбрасывает" эту даму "за борт" российской действительности со словами "тошно на душе" от нее. Нежный Полонский заканчивает характеристику этой женщины "катастрофическим" концом: "ничего русского" как в ней, так и в ее дочерях. Как христианка, она оказалась вне любви. Как русская патриотка, Смирнова не могла жить в России. Поскольку и сам Пушкин мысленно уходил в эмиграцию, то и Полину свою он как бы подвел к естественной границе предела обличения нелюбимого отечества. Загоскин же, противник таких логических построений и чувствований, которые не только не помогали отечеству, но и способствовали погибели земли русской в годину суровых испытаний под прессом наполеоновских полчищ, – оставался последовательным патриотом, зовущим Русь к осознанию себя самобытной страной в лоне христианской цивилизации.

Итак, наш "сочинитель вредных пасквилей", с которого генерал И. Н. Скобелев (кажется, по его инициативе с 28 июня 1828 года и до смерти за Пушкиным тайно наблюдали) рекомендовал властям "немедленно в награду" сорвать "несколько клочков шкуры", – гуляет с женой по царскосельскому саду, уже "упеченный на старости лет в камер-пажи". Положение Пушкина среди

петербургского High Life остается неизменным. Поэта называют придворным "Mauvais Garnement" (шалопай). Это его, понятно, еще больше отстранаяет от общества, на которое Пушкин в своих произведениях накладывает не "персонифицированную" (не на конкретного обидчика), а "общую" тень обиды-страдания-борьбы. Примирения до конца не может быть, ибо Пушкин остается "неисправимым", хотя "гора идет к Магомету" (деньги дают, открывают перед ним архивы – только "смирись, гордый человек", то есть "не будь хотя бы эпиграммой").

С 1830-х годов начинается в России "литературная война". Это видно хотя бы потому, что Пушкин, до этого времени терпеливо относившийся к монополизации Ф. В. Булгариным "в свою пользу" общественного мнения, в его правительственной окраске (сам попытался это же осуществить, но неудачно), – обрушился с резкими эпиграммами на Булгарина и "К°" ("Не то беда, что ты *поляк...*"). Однако, в конце концов, "Литературная Газета" борьбы не выдержала и прекратилась в июне 1831 года. Н. А. Полевой считал эту газету *"последним усилием жалкого литературного аристократизма".* Пушкин, понятно, отрицал такое обвинение, считая в то же время Полевого своеобразным "либералом"-плебеем. Помирить с миром державным попробовал Пушкина, еще раз, С. С. Уваров. Так, он в 1831 году переводит и посылает Пушкину свой французский перевод стихотворения "Клеветникам России"; в 1832 году – приглашает его на лекции в Московский университет, лестно представляет его аудитории, в том же году содействует выбору Пушкина в академики. В 1834 году – в связи с опубликованием "Анджело" – отношения между ними обострились, и к февралю 1835 года произошел разрыв его с Уваровым. "Современник" явился последней надеждой Пушкина "оздоровить" русскую печать – качеством за счет количества читателей. Ведь корневая Русь, большинство ее граждан, оставалась "загоскинской". Убивали потом селяне народников-пропагандистов. Даже во времена Максима Горького его "героиня", мать Павла Власова, сталкивалась с активным недоверием людей к "правде нового типа". На чьей стороне оказался бы Пушкин в эту лихую годину – неизвестно. Направленность же духовной ориентации Загоскина не позволяет усомниться, что до конца бы постоял он за Веру и Правду. В этом их коренная разница. Не случайно в советской России до 1955 года, кажется, не печатали загоскинского "Рославлева", с таким, казалось бы, ясным патриотическим названием: "РУССКИЕ В 1812 ГОДУ"! И окрик не замедлил грянуть: в первом номере ленинградского журнала "Нева" за 1957 год явилась Н. Ильин-

ская с вопросом знаменательным: ”Стоит ли ’воскрешать’ Загоскина?” Стоит, даже очень. И вот почему.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

"НИЧТО ТАК НЕ ВРАЖДЕБНО ТОЧНОСТИ СУЖДЕНИЙ, КАК НЕДОСТАТОЧНОЕ РАЗЛИЧЕНИЕ". (Берк)

Итак, второй роман М. Н. Загоскина "Рославлев или Русские в 1812 году", начатый приблизительно во второй половине 1829 года, когда уже вышло в свет шесть глав пушкинского "Евгения Онегина", писался, по всей вероятности, около двух лет; и в конце мая или самом начале июня 1831 года (через год с лишним после появления седьмой главы "Онегина", законченного вчерне осенью 1830 года) он был опубликован.

Естественно, что Пушкин, живя в Москве и встречаясь с Загоскиным, должен был много слышать о "Рославлеве" и о ходе работ автора над ним (мнение Н. В. Измайлова). 8 мая 1831 года Пушкин, и впрямь, сообщает об этом романе неизвестные ранее подробности: он уверенно уточняет приблизительный объем, содержание подвергнувшихся "переплавке" глав и причину видоизменения автором структуры своего произведения: "Роман Загоскина еще не вышел. Он был вынужден переделать несколько глав, где говорилось о поляках 1812 года" (65:20,104). И больше того, полагаю: Пушкин, видимо не дожидаясь выхода из печати романа "Рославлев", моментально пишет как бы встречную реплику, черновик отклика — первую часть своего одноименного романа, датированную 2 июня 1831 года, тогда как авторский экземпляр от самого Загоскина через посредство О. М. Сомова мог быть получен поэтом несколько позднее, не раньше чем "около 20 июня".

Поговаривали, что Пушкин взялся за "Рославлева" потому, что ему "не нравился характер Полины в романе Загоскина: она казалась ему слишком опошленною; ему хотелось представить, как он изобразил бы ее..." (72:39). Но почему же в таком случае Пушкин не реализовал своего "намерения"? Представляется сомнительным утверждение Н. В. Измайлова, что желание исправить "несправедливость", якобы допущенную Загоскиным по отношению к Полине, будто бы оно исходит из "побуждения самой рас-

сказчицы отрывка, но никак не автора" (65:110). Ведь сама "рассказчица" и Полина – в полной зависимости от Пушкина и выражают даже "букву" его идейной и повествовательной установок. Как бы там ни было, чтобы выступить в качестве "защитницы тени несчастной женщины" (а этим декларативным заявлением "от рассказчицы" и начинается пушкинский "Рославлев"), поэту, как минимум, надо было знать ц е л и к о м, до последнего листка содержание этой литературной вещи Загоскина, и уже только потом, при наличии исчерпывающих аргументов – иметь моральное право "осудить" "чувством негодования" непонравившуюся его "рассказчице" трактовку Загоскимным видимо общеизвестного факта и тем самым реабилитировать "проклятый" молвой образ загоскинской Полины.

Хотя нет уточняющих документальных свидетельств подлинности самого происшествия, послужившего исходной точкой для создания "обоих 'Рославлевых' ", не вызывает сомнения подлинность такого рода факта в русской жизни. По авторитетному заключению Г. А. Гуковского, первоосновой сюжета "Рославлева" явился действительно факт или даже факты, которые могли дать повод и литературной обработке их, – или, по крайней мере, разговоры, слухи, сплетни о подобных фактах (26:477), что подтверждается, например, заметкой от 19 июня 1813 года, появившейся в "Сыне Отечества," – по поводу обхождения в России с военнопленными французами: "...Некоторые русские дворяне с ними о России рассуждают, слушают их, любуются их красноречием (именно так ведет себя пушкинская Полина, испытывая к французу Синекуру повышенный *собеседнический интерес.* Однако сам Пушкин, "презирая отечество", досадовал, если и иностранцы Русь ругали. – Е. В.)... Говорят, что несколько благородных девиц..., *мудрых космополиток,* или обитательниц вселенной... собираются выдти за них замуж; что, забыв честь, долг родства и любви к отечеству, не погнушались они руку свою предложить... Говорят даже утвердительно, называя и по имени, что *две из сих несчастных* уже вступили в таковый отвратительный союз, который не токмо по коренным нашим установлениям и законным признать нельзя, но даже и французским правительством за действительный не признается... Но есть ли встречаются случаи, где браки с иноплеменными и могут быть терпимы то конечно *не с теми, которые были пойманы, как тати, на пепелище нашем, в прошлом 1812 году, и коих за обыкновенных военнопленных признавать никак нельзя,* ибо истинный сражаясь..., никогда не поругается святынею воюющего с ним народа, не станет рук своих осквернять грабежом и убийством беззащитных жен и младенцев. И после содеяния нынешними плен-

ными в отечестве нашем неслыханных святотатств и насилий русские благородные девицы не постыдятся вступить в супружество с участниками сих злодейств! О горе! О вечный стыд и срам... (87:301–5).

О моральном облике французских оккупантов свидетельствует участник Бородинской битвы полковник русской армии Ф. Н. Глинка в своих "Письмах русского офицера". Вот картина французских биваков после сражения 6 октября: "...Несколько церквей, бывших в руках неприятеля, представляли разительный вид поруганной святыни. Престолы были разрушены, иконы ниспровергнуты, в алтарях спали солдаты, а на помосте храмов стояли лошади, наполняя ржанием своим те священные стены, в которых раздавалось дотоле одно благоговейное пение в честь Божеству. *Лики святых употреблены на построение шалашей..."*

Завоеватели, превратившие плененную Русь в "дикую пещеру разбойников", почву себе благоприятную готовили исподтишка. Вот что тот же Глинка утверждает в главке "Наполеон, обманутый в мечтах своих" (той же книги): "...Ему казалось, что он все предусмотрел, все предуготовил к успеху исполинского предприятия своего. Уже язык французский слышен стал во всех пределах и во всех состояниях России; уже вместе с ним водворились повсюду обычаи и нравы французские, вредной роскошью и развратом сопровождаемые. *Французы взяли полный верх над умами; для них отворялись палаты и сердца дворянства.* Французам вверено было драгоценнейшее сокровище в государстве – в о с п и т а н и е ю н о ш е с т в а. И французы, обращая все сие во зло для нас, извлекали из всего возможнейшую пользу для себя. Наполеон не прежде решился идти в Россию, пока не имел там тысячи г л а з, вместо него смотревших; тысячи у с т, наполнявших ее молвой о славе, непобедимости и мудрости его; тысячи у ш е й, подслушивавших за него в палатах, дворцах, в домашних разговорах, в кругах семейственных и на площадях народных. Таким-то образом, подрывая коренные свойства народа, заражая нравы, ослепляя умы, соблазняя сердца лестью и золотом, одерживал он заранее победы в *сей тайной, но всех других опаснейшей войне..."*. Но жестоко обманулся честолюбивейший из полководцев в дерзких мечтаниях своих относительно России, "ибо прежде воевал Наполеон только с государствами, теперь народы вступили за государей. Он воюет с народами и чувствует уже тяготу этой *священной войны,* в которой *миллионы готовы пролить свою кровь для спасения свободы, алтарей, престолов и древних своих прав...",*

Нет, Русь не против браков с иностранцами. После поражения Карла XII многие пленные шведы изъявили желание остаться на-

всегда на российской службе и просили позволения вступить в брак с россиянками. Петр Первый поручил Синоду начертать правила, на которых должны быть основаны таковые браки. Синод объявил 18 августа 1721 года, что брак православного лица с иноверным правилам церкви не противен только тогда, когда пленники и свободные иностранцы Царскому Величеству записались на вечную службу. Что касается же французской стороны, то в начале 1812 года было напечатано в Мониторе, что великий судья запросил у Наполеона, можно ли признавать в числе законных браков супружества, заключенные пленными французами с иноземками. Наполеон ответил, что *пленные французы могут жениться для поправления своего состояния во время плена, но по возвращении во Францию таковые их браки не будут признаны законными!* Не жениться, а поджениться предписывалось "мародерам в гостях".

Не исключено, что одна из "сих двух несчастных" – Полина, настоящее имя которой скрывается в пушкинском тексте под двумя звездочками ("княжна**"); "Загоскин, – пишет Пушкин, – назвал ее Полиною; оставляю ей это имя". Похоже, об одном и том же человеке идет речь, да интерпретация художественных запечатлений писателями разная, ведь Полина у Пушкина выходит совсем иной, нежели у Загоскина. Проекция судьбы на личность или личности на судьбу? Новая Полина иного содержания и пути: она действует в салоне "прогнившей до основания" России, высматривая глазами залетной знатной иностранки пугающие ее "мужицкие бороды и московское пожарище", от которых хочется бежать хоть на край света, хоть в объятия к Синекуру. Правда, любви к "врагу" она, вроде, пока не питает, поэтому несвоевременна версия побега из отчизны "ради милого". Пушкинскую Полину могут одолевать отнюдь не "шекспировского" масштаба сомнения, а вот загоскинская героиня оказалась в такой серьезной психологической ситуации, где драматизм поистине высок: трудно не "разорваться" от титанических усилий сделать невозможное: быть "и там и здесь" одновременно.

Чем, говоря языком ворожеи, сердце Полины пушкинской успокоилось бы, останься она в России? Могла "сломаться": "поумнев", вернулась бы к "уездному", то есть традиционно-привычному облику русской дворянки. Или бы – обернулась законченной "умной ненужностью", ядовито скептицирующей, если бы не удалось ей сбежать из авторских намерений насчет нее – в свою судьбу (ведь Татьяна Ларина "сама вырвалась", кажись, из пушкинских видов на нее, состоявших в том, чтобы за ручку провести ее к пошлому адюльтеру с Онегиным). Но кому охота быть чем-то средним между озлобленным "синим чулком" (высокой вздорностью) и разъ-

яренным одиночеством? Если бы вернулась назад, "а воз и ныне там" (борьба с плохим в России до отвращения к стране продолжается), то, скорей всего, возненавидела бы себя. Трудно ей далось бы испытание покаянием: дурь выбросить из головы, "припасть к родным березкам", землю вскормившую целуя, себя непутевую проклиная; тогда "по-загоскински" венчал бы финал судьбы "возвращение блудной" дочери к православной традиции, гордой верностью "традиционного долга", долюшки женской. Что в Полине пушкинской негодует, кричит, даже "шипеть" может при более драматизированных обстоятельствах, унаследует "гадюка" Алексея Толстого. В той – усугублено все до взрывного накала. Она, с фронта вернувшись (куда Полина рвется), пробует реактивным методом адаптироваться в пошлой действительности: дикую накопившуюся любовь свою приказывает взять мужчине и, будучи "непонятой", – расстреливает мир обывателей. Гнев сердца топит рассудок. Чтобы понять мотивировку поступков и специфическую особенность поведения Полины, надо не забывать о пушкинском эротическом ощущении свободы, характерными "симптомами" чего являются: 1) нетерпимый эгоизм по отношению к женщине, превращаемой чаще только в средство личного подъема и которую лишают, таким образом, самостоятельной жизни; 2) нарушение обязанностей по отношению к самому себе, бегство от себя, перенесение ценности в совершенно чуждую ей сферу, стремление к искуплению и потому – трусость, слабость, отсутствие достоинства, временами абсолютный негероизм; 3) страх истины, которая не нужна любящему, так как она разрушает все расчеты любви, и которая для него невыносима, потому что она уничтожила бы возможность удобного искупления... Впрочем, даже Зевс из-за красоток, случалось, и небо покидал! Создается впечатление, что Пушкин променял-таки политическую свободу на "семейную неприкосновенность": "Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, – писал поэт жене 3 июня 1834 года, – приводит меня в бешенство a la lettre. *Без политической свободы жить очень можно;* без семейственной неприкосновенности... невозможно. Каторга не в пример лучше".

Поступок Полины-оригинала не из разряда психосексуальных мотиваций; она только вольно истолковала своим поведением стародавний петровских времен циркуляр и вышла замуж, надо полагать, не за "мародера", а за "истинного воина", бесстрашного полковника графа Адольфа Сеникура, пойманного не за убийством беззащитных жен и младенцев, не за поруганием святынь русских, а только, как видно из письма пленившего его, "спасен от смерти": не сдавался и "дрался как отчаянный". Разница пре-

огромная. Француз этот, с большим риском для своей репутации и даже жизни, спасает от французской контрразведки своего благодетеля Зарецкого, демонстрируя не "прыть службиста", живущего по армейскому уставу, а высший кодекс совести и чести человека благородного, достойного избранницы.

В этом смысле и пушкинский Синекур не "нестерпимый крикун хвастливости", а вполне герой, "примечательный своими п о ч т е н н ы м и ранами", а следовательно, "теоретически" гож в мужья русским аристократкам, хотя и виновен за поведение своих сокашников на территории оккупированной России. Посему, вряд ли к обеим Полинам относится впрямую журнальное негодование по поводу их амурных дел. Даже сам Рославлев – единственный, кто мог бы не простить Полине ее "антипатриотическое" замужество – снимает к концу романа свою слепую благородную ярость, обрекающую героиню, несчастную и без того, на существование проклятой: "Но никогда, – кричит он умирающей, – нет, никогда не проклинал моей Полины!" Жестокая война и людские предрассудки сделали и его виноватым в глазах умирающих от голода данцигских изгнанников: не оказалось у него в руках элементарного хлеба, да и Полину с ребенком от Сеникура в толпе не узнал. Так что герои формально "расквитались" перед Правдой. Кается же Полина с а м а, очищаясь перед открывающейся перед ней Вечностью, как и принято у христиан в такой момент, – "ЗА ВСЕ ЗЕМНЫЕ ГРЕХИ", сознавая и свой особый повод просить прощения не только у Бога, но и Рославлева за "невольно содеянное" зло. Без худа нет добра. Значит, подлинность самого происшествия, как и мотивировка поведения героини Загоскина, – не должны вызывать сомнения в истине, запечатленной Загоскиным, который и прототипом Рославлева избрал также лицо реальное: офицера Василия Перовского, который в молодости был близок к декабристскому движению (50:334). На выбор Загоскиным имени Рославлев могла повлиять, полагаю, пьеса Грибоедова и Жандра "Притворная неверность", сыгранная 11 февраля 1818 года. "Сын Отечества" одобрил русские имена действующих в этой комедии лиц, среди которых фигурировали как имя Рославлев, так и Ленский. Так что "загоскинцы", не исключено, ни крупицей души не обязаны своим происхождением "Онегину".

Сама же тема "Рославлева" мелькнула анонимно в "Письме к издателю" журнала Мерзлякова "Амфион" за январь 1815 года, с пометкой в конце этой десятистраничной статьи "Продолжение впереди". В 1824 году эта "повесть" была перепечатана в "Сочинениях и переводах Ф. Ф. Иванова". Здесь, полагает Г. А. Гуковский, уже были намечены очертания будущего романа Загоскина; повест-

вование ведется от лица героя, почти соответствующего самому Рославлеву. И самый ход событий в повести Ф. Ф. Иванова – известного в начале XIX столетия драматурга – весьма близок к изложению ромна Загоскина (26:479).

Однако Загоскину нужен был "не столько сюжет, сколько те эпизодические детали рассказа и та его канва, при помощи которых старый сюжет мог бы развиваться по новой, своеобразной форме" (32:346). Поэтому при создании "Рославлева" он мог опереться на указанную короткую, но характерную традицию сюжета, легшую в основу его романа, а при обрисовке характеров – в известной степени воспользоваться и характеристиками персонажей из "Евгения Онегина", учтя, что вполне вероятно, опыт состоявшейся переклички "Сашки" Полежаева с "Онегиным". Но принципиально разное мировоззрение сравниваемых писателей не могло не сказаться при творческой обработке ими аналогичного фактического материала. И литературные персонажи в местах соприкосновения, организуемых их создателями и ведомых ими, *естественно* отталкивались друг от друга в свои ипостаси, по логике неадэкватных вещей – "каждому – свое". Такая мгновенная контактная "вспышка" разносодержательных величин и носит в себе заряд п о л е м и к и. Например, Аполлон Григорьев не сомневался, что "один только Пушкин... понимал настоящую 'суть' дела, но высказывался не прямо, а косвенно, и всегда необыкновенно удачно и тонко. Когда явился 'Рославлев' Загоскина, Пушкин написал свою критику под формою высоко-художественного, но, к сожалению, неполного рассказа, в котором он восстановлял и настоящие краски, и настоящее значение события и эпохи, так *жалко изуродованных* в романе покойного Загоскина...". Козыри антизагоскинские: кто про что. А. Г. Цейтлин в 1940 году высказался, что Пушкин был недоволен *узостью национализма* Загоскина и потому якобы предпринял свой "демарш".

А вот А. И. Грушкин и С. М. Петров доказывают, что Пушкин тем самым хотел восстановить правду о 1812 годе, якобы нарушенную Загоскиным. Чего только не "нарушил" Загоскин?! То, что Пушкин дает совершенно иное, чем у Загоскина, освещение событий, составивших сюжетную основу обоих произведений, – еще не говорит об исторической правоте "переделывателя". Как прикипели к честному имени Загоскина набившие оскомину жалкие обзывальные ярлыки: "официальный 'патриотический' пафос", "идеология 'официальной народности' "... Все это отнюдь не мешало в свое время восторгаться романами Загоскина "всея Руси".

Как трудно сказать о Пушкине времен "Рославлева", чего в нем больше: "националиста" или "француза", – так и о самом жанре

этого пушкинского отклика на загоскинский "оригинал"; Пушкин подсказывает, что перед нами "перевод французских записок дамы"; "отрывком" или "повестью" называют э т о знатоки. Хотя "все все доказали", остается неясным, почему поэт мог посчитать, что Загоскин исказил характер героини своего романа, Полины Лидиной. Не ясно также, почему, воспроизводя события 1812 года, Пушкин, в отличие от Загоскина, выводил патриотом женщину, а не участника кровопролитных боев. Эти стороны творческого замысла повести "Рославлев" можно понять яснее, рассматривая роман Загоскина в сопоставлении с "Евгением Онегиным".

По мнению знатока творческого замысла повести Пушкина "Рославлев" В. И. Глухова, исследователи не обратили внимания на то, что в обрисовке *Загоскина Полина,* особенно в начале романа, *многим напоминает Татьяну Ларину.* Подобно героине пушкинского романа, Полина изображалась в сравнении с младшей сестрой, которую, кстати, тоже звали Ольгой и которая была очень похожа на свою тезку из "Евгения Онегина". Рославлев, главный герой загоскинского романа, дал сестрам следующую характеристику: "Оленька добра, простодушна, приветлива, почти всегда весела; стыдлива и скромна, как застенчивое дитя; а рассудительна и благоразумна, как опытная женщина; но при всех этих достоинствах никакой поэт не назвал бы ее существом небесным; она просто – прелестный з е м н о й цветок, украшение з д е ш н е г о мира. Но сестра ее... ах! какое неземное чувство горит в ее вечно томных, унылых взорах; все, что сближает землю с небесами, все высокое, прекрасное доступно до этой чистой, пламенной души! Оленька, с согласия своей матери, выйдет замуж, сделается доброй, нежной матерью; но никогда не будет уметь любить, как Полина".

Далее мы узнаем из романа, что воспитанная на французской культуре Полина была большой мечтательницей. Она постоянно находилась в состоянии задумчивости и уныния, так как была, по словам Рославлева, "слишком совершенна для здешнего мира". Действительно, по прочтении этих страниц сразу же вспоминаются образы сестер Лариных, какими они были представлены в первых главах "Евгения Онегина". Об Ольге Лариной в романе писалось:

Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила... (гл. 2, XXIII).

Перед этим подчеркивалось: "В глазах родителей, она цвела, как ландыш потаенный" (XXI). А о том, что чувство любви в Ольге не было глубоким, читатель узнавал из других глав. *Не меньше было сходство между Татьяной и Полиной.* Как известно, Татьяна также изображалась сентиментальной девушкой, увлекавшейся западноевропейской литературой. Грустная и задумчивая, она также была не удовлетворена окружавшей ее действительностью. В то же время героиня отличалась внутренней сосредоточенностью и глубиной чувства.

Соответствия, продолжает Глухов, наблюдаются даже в деталях. Онегин сначала представляется Татьяне в образе героев прочитанных ею романов – Вольмара, Малек Аделя, де Линара и других. Себя же она воображала на месте героинь этих романов (гл. 3, X–IX). В сознании Полины любимый ею Сеникур тоже выступал в образе одного из названных героев, Малек Аделя; себя же она видела в положении влюбленной в этого героя Матильды. Загоскин замечал, имея в виду Полину: "Казалось, она завидовала жребию Матильды и разделяла вместе с ней эту злосчастную бескорыстную любовь, в которой не было ничего земного".

Отмеченное сходство, по мнению Глухова, вовсе не значит, что в обрисовке женских образов Загоскин копировал Пушкина. "Он наделил своих героинь чертами Татьяны и Ольги Лариных с тем, чтобы полемизировать с великим поэтом" (24:98–9). Пушкин открыто называл своей любимой героиней Татьяну, об Ольге же отзывался пренебрежительно (гл. 2, XXIII). Рисуя сестер Лидиных, Загоскин, получается, как бы оспаривал мнение Пушкина. "Ограниченную" Ольгу он, по существу, поставил выше Полины, которая многим напоминала Татьяну. С точки зрения писателя, воспитанная на французских романах девушка не могла быть близкой народу русскому. Глухов интерпретирует загоскинскую логику поступков персонажей: изменив Рославлеву, русскому патриоту, Полина стала и "изменницей" Родины (она вышла замуж за пленного французского офицера и покинула Россию). По мысли романиста, Рославлев ошибся, полюбив ее, а не Ольгу. В противоположность пушкинской Ольге, которая была легкомысленной и скоро забыла о Ленском, младшая героиня загоскинского романа навсегда осталась верной своему чувству к Рославлеву, хотя и вряд ли могла любить так страстно, как Полина.

Полемическая направленность образов Полины и Ольги Лидиных подчеркивается следующим обстоятельством. В третью главу "Евгения Онегина" Пушкин ввел разговор Онегина с Ленским о сестрах Лариных. Онегин удивлен тем, что Ленский влюбился в Ольгу, а не в Татьяну. Он говорит: "Я выбрал бы другую, когда б

я был, как ты, поэт" (V). Загоскин тоже включил в свой роман беседу друзей, Рославлева и Зарецкого, о девушках Лидиных. Из беседы явствовало, что, в отличие от Ленского, Рославлеву, также романтику по натуре, Ольга понравилась лишь "с первого раза". Герой увидел, что никакой поэт не назвал бы Ольгу существом небесным. Он влюбился в Полину, в унылых взорах которой горело "неземное чувство". Наоборот, Зарецкий, "реалист" в своих взглядах на жизнь, выше оценил Ольгу. Он так заключал разговор с Рославлевым: "Дай Бог тебе счастья, а, право, жаль, что ты женишься не на Оленьке!".

Разговор между Рославлевым и Зарецким, как видно, полемически противопоставлен беседе Онегина с Ленским. *Вместе с Зарецким предпочитая Полине Ольгу, Загоскин тем самым отводит выраженную в словах Онегина пушкинскую оценку Татьяны и Ольги Лариных.* С его точки зрения ("монархиста и реакционера" – эпитеты глуховские), Ольга была более "надежной", чем мечтательная сестра. Неспроста писатель устами Зарецкого сказывает Рославлеву: "Твоя Полина слишком... как бы тебе сказать?.. слишком... небесна; а я слыхал, что эти неземные девушки редко делают своих мужей счастливыми. *Мы все люди как люди, а им подавай идеал".* К этой "монархической" точке зрения присоединился журнал Н. И. Надеждина "Телескоп", в 14-м номере которого за 1834 год сопоставлялись образы героинь из "Юрия Милославского" и "Рославлева": "Патриархальная кротость Анастасии и романтическая мечтательность Полины представляют уже слишком противоположные крайности; но портрет Оленьки, в коем ясно выражается русское девическое самоотвержение, производит приятную уверенность, что Анастасии еще на Руси не выродились". "Апологет 'официальной народности'", одну из своих творческих задач усматривававший в том, чтобы дискредитировать "недовольных" и их мечтания, – в другом своем романе "Тоска по родине" (1839 год) устами разочарованного жизнью и мечтами человека выводит: "Главною чертою моего характера была какая-то мечтательность, которая всегда мешала мне наслаждаться спокойно настоящим; я строил беспрестанно воздушные замки, один другого прекраснее; я видел себя счастливым только в будущем". А в "Рославлеве", изображая судьбу Полины, Загоскин выявил, что мечтания зачастую ни к чему хорошему не приводят: героиня погибает в Данциге, осажденном русскими войсками.

Вполне логично, в таком случае, заключить, что создавая образ Полины, вполне напоминающей Татьяну Ларину, Загоскин ставил под сомнение нравственный идеал пушкинского творения. Умствующую и мечтательную Полину женский долг завел на ги-

бельную чужбину, пусть и с порядочным, но иноземцем – на горе патриоту земли русской. Не исключено, что заключительная глава "Евгения Онегина" (1832 год) призвана "реабилитировать" романтически настроенных: Татьяна, вышедшая замуж не по любви, отвергнет путь жизни чувством и останется "век верна" мужу (возможному участнику войны 1812 года). Даже если дело обстояло именно так, для Загоскина Татьяна, скорей всего, исключение.

Несходство между авторскими интерпретациями являют собой художественные воплощения типа Зарецкого. Создается впечатление, что этот персонаж противопоставлен пушкинскому Зарецкому. Последний в бою свалился с коня и попал к французам в плен, о чем он нисколько не жалел, так как получил возможность весело пожить в Париже ("Евгений Онегин", гл. 6, V).

> Отстаивавший идею о решающей роли дворянства в победе над врагом, – пишет Глухов, – *Загоскин не мог согласиться с таким изображением русского офицера.* Его Зарецкий, также мечтавший о веселой жизни в Париже, желал появиться там только победителем. И с коня в кавалерийской схватке в романе Загоскина падает не он (что только показалось Рославлеву, наблюдавшему за сражением издали), а другой офицер, сраженный неприятельской пулей. Таким образом, с точки зрения Загоскина оказывалось, что преступное безразличие к судьбе отечества характеризовало не столько Зарецких, сколько людей такого склада, как Татьяна.
>
> Полемику Загоскина с Пушкиным следует поставить в связь с той критикой, какой подверглась опубликованная в начале 1830 года седьмая глава "Евгения Онегина' . Наиболее резким был отзыв Булгарина... Булгарин был раздражен тем, что Пушкин в новой главе своего романа с большим сочувствием описывал горе оставшейся в одиночестве Татьяны и высмеивал светское общество Москвы.
>
> "Мы думали, – писал Булгарин, – что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов – и мы ошиблись! Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей появился опять 'Онегин' , бледный, слабый". Приведенные слова свидетельствуют о том, что охранительный лагерь был недоволен не только седьмой главой, но и романом в целом (24:101).

Аналогичной точки зрения, по-видимому, придерживался в те годы и Загоскин. Однотипный материал давал разные проекции.

Не только по идейному пафосу полемику образующих мест "Онегина" прошелся Загоскин, но и по карамзинскому наследию. "Излишне объективная" оценка Европы в "Письмах русского путешественника" корректировалась Загоскиным в "Путешественнике", "Тоске по родине". Даже смысл "Бедной Лизы" переосмысливался в "Неравном браке", "Прогулке в Симонов монастырь". Полагая, что крестьянок, подобных карамзинской Лизе, в действительности не существовало, Загоскин сделал свою Лизу дочерью обедневших дворян. Не принимал он и трагического финала повести Карамзина: "Неравный брак" его не имеет. Выражая мнение Загоскина, один из персонажей его утверждал: "Я много знавал и бедных и богатых Лиз, только из моих знакомых ни одна не утопилась" ("Прогулки в Симонов монастырь").

Характерно, по мнению Глухова, что в "Рославлеве" Загоскин использовал в основном такие же приемы полемики, как и в повести "Неравный брак". В обоих случаях он выводил действующих лиц, давая им те же имена, что у Карамзина и Пушкина (Лиза, Эраст, Ольга, Зарецкий), или сходные (Татьяна Ларина – Полина Лидина). Некоторые лица имели определенное сходство с героями названных авторов, но изображались уже *в других жизненных обстоятельствах.* Это позволяло Загоскину опровергнуть точку зрения его литературных противников. Так, Эраст был не развратным и ветреным, как у Карамзина, а добродетельным молодым человеком, который оставался верным Лизе до конца. Иначе, как уже сказано, освещался и образ Лизы. В каком плане были созданы напоминавшие сестер Лариных образы Полины и Ольги Лидиных, а также Зарецкого, мы уже видели выше.

Таким образом, Загоскин и Пушкин полемизировали друг с другом взаимно. Пушкин почитал "за малодушие не отвечать на нападение – какого бы оно роду ни было". Так что предположительно, гипотетично следует иметь в виду, что Пушкин, "защищая Полину" (только не от "обвинений Загоскиным", а методом выдвижения своей проекции характера на действительность), восстанавливает "Татьяны милой идеал". Не потому ли сам Пушкин напечатал – в третьем томе "Современника" за 1836 год – лишь ту часть произведения, в которой звучит полемическая нота несогласия с загоскинской концепцией положительного героя. Действие в этой части "Рославлева" относится к 1811 году. Думать, что остальная часть повести – о 1812 годе – не была опубликована по цензурным соображениям, нет достаточных оснований. Некоторое время спустя, в посмертном издании сочинений Пушкина, печатался весь написанный текст повести (том XI, 1841). *Не без влияния Загоскина* Пушкин, "защищая Полину", заметно углубил свой нравствен-

ный идеал, воплотившийся в образе Татьяны. **ОНА ДООФОРМИЛАСЬ "ПО-ЗАГОСКИНСКИ", ПОТОМУ И ЯВИЛА СОБОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ.** Это чувствует литературовед В. И. Глухов: "Утверждать, как это делают некоторые литературоведы, что кругозор Татьяны будто бы не выходил за рамки ее личного и семейного быта, что, оказавшись в светском обществе, она нравственно стала деградировать, значит соглашаться с реакционным Загоскиным (20:104).

Утверждают, что якобы, по убеждению Загоскина и героев его "Рославлева", *любовь к женщине и патриотизм вообще несовместимы* – вследствие эгоизма женской натуры. Герой романа "Тоска по родине", написанного уже после смерти Пушкина, приходит именно к аналогичному выводу: "О женщины, женщины! самая лучшая из вас не стоит ничего!.. Какой отвратительный эгоизм!". Однако действие в романе развернуто таким образом, что оно опровергает это поспешное заключение. А в очерке "Прогулка в Симонов монастырь" Загоскин изобразил как отрадное явление молодую княжну Зорину, по его словам, одну из тех "умных, просвещенных русских барышень", которым европейское воспитание вовсе не мешает любить отечество, русский язык и русскую словесность. Сохранение народной самобытности не противопоставлено "просвещению". Загоскинская княжна Зорина "изъясняется прекрасно по-французски, говорит свободно по-английски и читает в подлиннике Шиллера", но это, подчеркивает романист, "не мешает ей знать свой собственный язык, если не лучше, так, по крайней мере, не хуже всех этих иностранных языков...". А у Пушкина – "смешенье языков французского с нижегородским": рассказчица его в "Рославлеве" щеголяет ненужно французским речением ("Что с тобою сделалось, ma chère?"), которое не есть непереводимое, потому что двумя строчками ниже читаем: "Ах, милая, – отвечала Полина". Под видом чужих записок "с французского" подается Пушкиным его "Рославлев" – это привычное для него камуфлирование ("*шепни*, что 'Повести Белкина" мои"...).

Загоскину нужен был не столько сам Пушкин, сколько и д е я, им истолкованная. Портреты же персонажей у него тяготели скорее к символической эмблематике, чем питались заимствованием у того же Пушкина, к примеру. Действующие лица Загоскина представляют собой некие о л и ц е т в о р е н и я определенных типических черт, как в китайских символических масках "добра" и "зла", как в греко-римских классических романах. "Добрый малый" Зарецкий, "добродушные оригиналы" вроде Буркина и Ивол-

гина (эти "маски" уже В. Г. Белинский распознал). И в "Юрии Милославском": в характерах сконцентрированы известные атрибуты традиционных образов-схем, по типу представления театрализованных масок: "молодой боярин" – отважный и деятельный, но в то же время чувствительный, чистый сердцем и набожный (Юрий Милославский); "богатырь силы и духа" – всем жертвующий для родины (Минин); "нравственно прекрасная русская женщина" (Анастасия Шалонская); "бродячий, бездомный скиталец (не Онегин, каким он показался Достоевскому!), не лишенный благородства 'вольного человека' " (ср. с "босяками" Максима Горького) – Кирша; "возрождающийся грешник" (боярин Кручина Шалонский), который жил как злодей и кончил жизнь как праведник... Здесь нам дал Загоскин в несколько сентиментальном освещении все самое ценное из области народной души.

Характеры загоскинские не горят желанием, как у Пушкина, "выкинуть что-нибудь от себя", "почесаться" вопреки формальной логике, как у Достоевского; они кажутся как бы "запрограммированными" на соблюдение христианских добродетелей и действуют в строгом соответствии с традиционными представлениями, удивительным образом совпадая с авторской гражданской позицией. И, вместе с тем, они не в прокрустовом ложе уготованной участи. Полина, в мягких загоскинских красках, вовсе не противоречила своей линии женской судьбы, удостоившей ее мига счастья и затяжного горя, которое усугублялось как самой войной, так и выпавшей долюшкой – совместить вообще трудносоединимое, а в условиях сложившейся обстановки – и почти невозможное: любовь к избраннику сердца и юридические правовые нормы противоборствующих военных лагерей, *родину* и *смерть* – в *одном* жесте судьбы. Ее "беззаконная" любовь была бревном в глазу бюрократизированного критерия. Молва толпы чудовищной оценкой чувств женщины внушила ей вину, жизнь отравила. Русский же снаряд только прикончил ее мучения (загнанных лошадей пристреливают), тело ее раздробил, чтобы Рославлеву было что, хоть чисто символически, вернуть русской земле. Толпа и интриги правительств убили физически любовь. Дух же ее, одержимый подлинною свободой (умирающую Полину Рославлев пробует уговорить "стать благоразумной", то есть не спешить на "тот свет" к мужу. Это своеобразное искушение она с честью выдерживает), не принадлежал терзателям ее тела и пересмешникам – она со своих духовных вершин любила как могла и знала, неподдельно глубоко и пожизненно.

Полина не изменила своему долгу, находясь даже в состоянии физического бессилия и душевного помешательства. Пушкинская же Татьяна п р о с т о "другому отдана" и, с л е д о в а т е л ь н о

(что тоже хорошо и даже весьма нравоучительно) "будет век ему верна". Поэтому "вечный позор" слепой толпе – за Полину, и грош цена армии ученых, попугайски повторяющей пошлое мнение о Полине как "недоросле" Татьяны Лариной.

Пересадка барышень на станции "Онегин–Рославлев" – не вопрос оказанной чести. Мелькают взаимные и в то же время отличные друг от друга наружные черты и внутренние свойства. Что для одной – "обыкновенная история", для другой – отягощенная драматической развязкой.

Страдающая Полина ни в какой мере не шаржирована. Ничем не приукрашена ее "участь" и не разбавлен авторскими вставками "отсебятины" ее смысл. Как носительница тяжкой доли, она – главное в романе, на страницах которого ей предоставлена писателем возможность прожить "показательную для всех" жизнь, и в результате неудавшейся "пробы мир объединить" ("Безумная! Я думала, что могу сказать ему: твой Бог будет моим Богом, твоя земля – моею землею..."), и не с тем все-таки человеком ("Мы погибли, – сказал ей Сеникур, – русские торжествуют; но извините! Я имел глупость забыть на минуту, что Вы русская...". Эта его "забывчивость" пробудила в ней, отвергнутой, сознание "допущенной ошибки". "Забывчивость" разбила мгновенно так, видимо, и несостоявшееся соединение в единое целое. Он ей уже, вроде, и не спутник по жизни: даже о гибели его писатель сообщает нам довольно бегло; и теперь ей предстоит, уже без всяких "точек опоры", подвести итоги своего пути), и не в тех обстоятельствах – она подтверждает известную многим истину: "Кто покинет навсегда свою родину, тот рано или поздно, а умрет по ней с тоски...". Вывод ничуть не "натянут". Смертью своей она подтвердила крах пути, основанного воображением мечтательного ума, оторвавшегося от родной почвы. Сильнейшие страдания личности от ностальгии точно изобразил Леонид Леонов в своей повести "Evgenia Ivanovna". Многим из нынешних эмигрантов не хватает Веры, мужества и терпения на чужбине, и они просятся назад – в "родную клетку".

Ольга, по замыслу писателя, противостоит "небесным" идеалам своей сестры; ее девическое самоотвержение призвано "землю украшать" русскую плодами преданной любви к тому, за кого мать выдаст ее замуж и к кому сердце самой благоволит. С назидательно-бытовй стороны Полина, вроде бы, от того же "древа", что и ее сестрица, только представлена как бы вкусившей "запретного плода отраву". Соблазненный мечтательными вздохами ее (по другому томится!), скачет к "неземной" восторженный "влюбленный жених", "добрый малый" Рославлев. Такова стартовая единица отсчета действия.

Характеризуя Полину, Загоскин заметно выделяет, даже подчеркивает и обыгрывает, сознательно подтрунивая, утрирует единственную деталь – ее "чересчур небесность", в честь которой салютует игрушечный набор трескучих эпитетов, ничем пока фактически ею не заслуженных (Гоголь, Стендаль "конденсируют" образ вокруг тоже одного преобладающего психического свойства). Так усиленно лепится внешнее увенчание – ради достижения противоположного эффекта: развенчания "ложного" (писатель верит, что это именно так) пути, навеянного модным поветрием идейности – убийцы Веры. Достижению поставленной актуальной цели служит сознательная компрометация самой "таковской" идейности (от которой добра не жди, и гибель всех христианских основ неминуема), которая сказывается уже в новой женской, *эмансипированной* **ориентации.**

Кстати, Татьяна Ларина подтвердила своим самоотречением – "но я другому отдана и буду век ему верна" – принадлежность к нравственным стародавним русским устоям. Если и взял Загоскин этот известный и почти культовый портрет, то насколько *убедительнее,* **выпуклее, резонанснее должно было выглядеть "высокое заблуждение" в виде** *прививки* **этической "провокации", толкавшей через растление духа в пучину безверия. Не поэтому ли и вверил Загоскин Татьяне пронести его самое сокровенное – правду обнаженной совести – людям, как пример опасного заблуждения, чтобы нагляднее очертить путь от Бога и тем спасти "заблудшие души" и предотвратить произрастание нигилизма-атеизма на Руси. Репутация Татьяны не могла пострадать от несения Креста души патриота Загоскина. Свершилась "пересадка", "трансплантация" заветной исцеляющей идеи в облик героини, которую, по всей вероятности, Пушкин не спешил наградить даром великого христианского подвижничества.**

> У ней и в отчаянии, и в страдальческом сознании, что погибла ее жизнь, все-таки есть нечто твердое и незыблемое, на что опирается ее душа. Это ее воспоминания... – это "крест и тень ветвей над могилой ее бедной няни". О, эти воспоминания и прежние образы ей теперь всего драгоценнее, эти образы одни только и остались ей, но они-то и спасут ее душу от окончательного отчаяния. И этого не мало, нет, тут уже многое, потому что тут целое основание, тут нечто незыблемое и неразрушимое... Нет, есть глубокие и твердые души, которые не могут сознательно отдать святыню свою на позор, хоть бы и из бесконечного сострадания...

Эти слова Достоевского, предназначенные для характеристики Татьяны, относятся непосредственно к Полине: она не через "бедную няню" осознала связь с почвой, а *вся* воплотилась в живой Крест под родными ветвями. В Татьяне, пожалуй, лишь эмбрион трагедии Полины. И Татьяна, если бы она "убежала" с пустым Онегиным за границу, не миновала бы позора и мук неправильно понятого долга. Пыл его в минуту охладел бы и, как полагает Д. И. Писарев, "между невольным похитителем и несчастною жертвою завязались бы немедленно такие отношения, которые бы не выдержала ни одна порядочная женщина...". Достоевский несколько преувеличил "трагическую" дилемму Татьяны, ведь она и не воспринимает брак как "несчастный случай" в своей судьбе. Примеры мифологии и фольклора красноречиво говорят о том, что лучшим женщинам выпадала нередко доля быть замужем за чудовищами (не является таковым супруг Татьяны); и не оторвать их было никакими колдовскими чарами и интригами от возникшей кровной связи, за что и вознаграждались – не за "муки", а за преданную взаимность, спасавшую дом святой воздержанностью от соблазнов. Думается, Татьяне достались не "одни только воспоминания". Они дороги ей сами по себе как вечная связь с родным и неизменно дорогим. А душа ее вовсе не приближается к "окончательному отчаянию". ДОСТОЕВСКИЙ "ПРИРИСОВАЛ" ТАТЬЯНЕ СВОЕ ПРОРОЧЕСКОЕ ЖЕЛАЕМОЕ, НЕВОЛЬНО УКАЗАВ ТЕМ САМЫМ НА НЕПОЛНОТУ ПУШКИНСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО ОБРАЗА. Загоскин же тогда усложнил в Полине схему возможного саморазвития Татьяны, уловленного Достоевским.

Значит, в образе Полины Загоскин изобразил характер, хотя и "идеальный", но невольно сопряженный с несчастьем и личным, и общим: ее "небесные черты" не могут реализоваться в желанной степени, ибо мир жесток и материалистичен, "антииллюзорен"; с другой стороны, – она пыталась построить свое личное счастье на "несчастье" другого ("влюбленного жениха"). Следовательно, избранный ею путь не оправдал себя: искалечил и убил героиню и сделал несчастным суженого; поэтому ее экзальтированная "головная чувствительность", а в широком обобщенном значении "вредная" идейность – опасны для русских христианских устоев.

Примером Ольги – положительной во всех отношениях (она, как воск, в готовой форме заветной старины) – противопоставляется "надуманно-полининскому" пути "естественно-русская" женская ориентация, веками проверенная и ведущая к земному счастью, пусть не к Раю (Ольга якобы "не может любить т а к, к а к Полина").

На фоне умственного сентиментализма людей 1830-х годов За-

госкину удалось в целом избежать в "Рославлеве" ложных преувеличений, хотя и применен художественный прием сгущения красок в обрисовке героинь. "Выпадов", в прямом значении этого слова, здесь нет. Героини исполняют свои "сольные партии" без каких-либо суфлерско-авторских "подсказок" и, тем более, "режиссерского навязывания". Авторская манера изложения благожелательно-мягкая, добродушно-улыбчивая, тактичная. Сочувственное расположение автора к страдающей Полине не позволяет считать, что перед нами предстает "окарикатуренная Татьяна". Из действительных событий тех лет писатель выбрал ключевые моменты, в которых характеры его героев проявляются с наибольшей силой. Но "театрализованная условность" самой образности Загоскина не расширяет, в процессе повествования, нашего уже состоявшегося представления о приблизительной линии развития его героев. Добавляются в основном только иллюстративные штрихи к изложенной на половине страницы характеристике обеих героинь. Так принято было в пьесах: при перечислении действующих лиц давать их ориентирующие читателя характеристики, в нескольких беглых замечаниях.

Поэтому может возникнуть ощущение, что автор задумал осуществить "полемический выпад" и против Полины, а раз ее портретные черты "списаны" с облика Татьяны Лариной, – то и против Пушкина. Повторяем: честь Татьяны осталась, в ее пушкинской интерпретации, не тронутой Загоскиным. Сам же прием "предварительной характеристики" героев живуч в литературе; его прекрасно использовал, например, Достоевский – в двух комических пробах пера: "Дядюшкином сне" и "Селе Степанчикове" (возгоняются и нагнетаются противоречивые, предваряющие факт слухи, до предела интригующие; но вот появляется "знакомое" лицо, которое проделывает "непредусмотренные" характеристикой вещи. Возникает эффект несовпадения "объявленного" и "действительного"). Заявительно-перечислительный же вид характеристики персонажа содержит дефект – статику: "привязку к неизменному", предуготованно-предрешенную "участь" судьбы человека в книге. Запрограммированное существование лишает живущих инициативы; выравнивает этот "перекос" – непроизвольное "почесывание" (нарушение арифметики счастья), обретение воли вольной через усвоение личностного пространства и рассматривание своего микрокосмоса частью мироздания всеобщего. Но шустрая динамика "французистой" живости характера спорит не кровопролитно в русской литературе с медлительной весомой самовитой статикой русской, "статью". Где мирного сожительства недостает, там амбиция прет против Бога. Там нетерпимость к инакомыслию, как с 1920-х

годов в СССР: "Некоторые интеллигентные писатели, – изрек Л. Авербах в 1927 году, – приходят к нам с пропагандой гуманизма, как будто есть на свете что-либо более истинно человеческое, чем классовая ненависть пролетариата". Загоскин был гуманистом – патриотом антитоталитарной закваски. Он не страдал шовинистическим угаром страстей. Для него нравственность не была голой абстракцией, пустым звуком. Погибнет на Руси самобытность – не видать ей и самостоятельности. Вырубили самобытность – не жди новой поколения два. Корни восстанавливаются медленно.

Роман "Рославлев" – о соблазне души. Герой утешительно счастлив хотя бы с внешним подобием Полины, в браке с ее сестрой; но не так, как бы ему хотелось. Ведь он все-таки посматривает – чем ревность Оленьки теребит, и довольно часто, если у ней уже выработалась рефлекторная реакция в виде проступающей в это мгновение краски на лице и вздоха укоризненного – в известный тайник своей неразделенной любви, который заслонила разросшаяся листва, но он видит и через "внешнюю", и через "внутреннюю" преграды – ее, свою единственную героиню. А ведь уже дети у них с Оленькой. Значит, крепко соблазнила Полина душу Рославлева.

Возможность "препарировать" своих персонажей дал сам Пушкин, ибо они, по определению Юрия Тынянова, еще не "типы", а только "свободные", *двупланные амплуа* для развертывания разнородного материала".

Пушкинская Полина – заметно экзальтированная особа из высшего общества, характеристика которой слеплена из указанных "прототипных" черт современниц и из прилепленных "кусков" пушкинских разбросанных рассуждений – "откликов на все сразу" – она ничем не пародирует загоскинскую героиню, хотя вместо органичного естественного женского пути (у Загоскина) устами "рассказчицы-свидетельницы" (у Пушкина) предложено пойти тропою эмансипации к своему новому – "социальному счастью": бросить вообще пока мужчин и записаться, если перевести на современный язык, в общественные деятельницы. Если бы загоскинская Полина вздумала подражать тезке своей, то могла бы поноситься с обличительными возгласами против, скорей всего, поместного дворянства (ведь она родом из провинции), и при "везении" податься в "неприятельский лагерь": Наполеона убить. Своей же жене поэт запрещал читать книги даже из "дединой" библиотеки, – побаивался нарастающего успеха супруги на балах. Развращающие идеи – не для "женки", а для "нежных читательниц". Женитьба – лекарство от беспутства и тоски, попытка убежать от себя, изменить судьбу, сбывающуюся предсказаниями немки.

Пушкин, как обычно, спешил, создавая "реплику" на "Рославлева"; впопыхах он и имени-то французского мужа не совсем разобрал: пишет *Си*некур, а у Загоскина – *Се*никур. Опять скрытая полемика?! По Фрейду описка мотивирована: поэт в то время денег на удовлетворение "запросов жены" искал, а потому места подходящего: хорошо оплачиваемой должности, не требующей большого труда – с и н е к у р ы!

Нечего было исправлять у Загоскина Пушкину. Поэтому заявка против антипатичных "плебеев" и осталась, а скрытый полемический зацеп растекся. Вяземский, похоже, не оправдал придирочных надежд поэта – ничего не прислал путного, кроме брани и храпа; стоящих зацепок к "Рославлеву" не нашел, видно, потому отделался просто обзыванием Михаила Николаевича "глупым" – да и дело с концом. Пушкин в таком случае, не перечитывая романа, выставил мечом свою полемическую занозу и, не упуская из вида схемы загоскинской, нашпиговал ее злободневной всякой всячиной, раскладывая эти гремучие "козыри" как попало, по ассоциативной связи с загоскинским материалом и своим разумением, откликаясь "на все сразу", а значит, отчасти и на "Рославлева". Вот и вся премудрость "шекспирова" тут.

Вульгарно-социологические измышления по поводу "Рославлева" М. Н. Загоскина и самого писателя исказили, обезобразили, испохабили, умертвили судьбу романа и посмертную – авторскую. Даже уважаемый пушкинист Б. В. Томашевский не удержался: он и в *1961* году утверждал, что в романе Загоскина "Рославлев" дана "ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКАЯ, ЗООЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ" – "АПОЛОГИЯ САМОДЕРЖАВНО-ПОЛИЦЕЙСКОГО СТРОЯ" (66:143–144). В трехтомной истории русской литературы пушкинский реализм "утверждается" за счет одностороннего разоружения загоскинского "Рославлева". Талдычится насчет пресловутого (как всегда, "единодушного" мнения советских ученых) "отступления" Загоскина от истины исторической, что заметно по "ложной трактовке войны 1812 года" (31:441).

Но правда о Загоскине всякий раз и воскресала. То сам Лев Толстой "все читал с наслаждением, которого никто, кроме автора, понять не может"; то Достоевский вспомнил о "Рославлеве" же, подумав о "странном характере" знаменитого Фигнера – в своих Примечаниях к "Честному вору"; да даже в кромешные 1930-е годы нашелся Ю. Г. Оксман, который заявил, что в "Записках" Пушкин "ПО СУЩЕСТВУ НЕ ВОЗРАЖАЕТ ПРОТИВ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ЗАГОСКИНА" (68). У Загоскина не "квасной патриотизм", а кровный, он сам воевал, был ранен, лицезрел ужасы

войны. А вот у Пушкина – амбиция первородства, ура-патриотизм, как Вяземский сформулировал, "шинельного типа". Для тех, для кого кровь – водица, русский "квас" – зараза. А вообще-то пламенный патриотизм во времена Загоскина и существовал в привычной для себя форме, традиционной для целых поколений – в виде, по формулировке А. П. Скафтымова, *"лирической эмфазы и патетики"* (82:259). Эмфатический, выразительный характер придают речи различные "фигуры": восклицания, риторические вопросы и обращения, анафорические повторения слов. Приподнятый тон напрягал выразительность стиля тогда, и не был смешон напыщенно-высокопарный слог, приводящий в волнение, страстный, полный чувства и пафоса, воодушевляющего подъема.

Разве храбрость русских воинов преувеличена Загоскиным?! – В письме к Н. И. Гнедичу К. Н. Батюшков, которого полумертвым нашли на поле боя среди убитых, чуть ожив, сообщил: "Я жив. Каким образом – Богу известно. Ранен тяжело в ногу на вылет пулею... Стрелки были удивительно *храбры, даже до остервенения"* (8:12–3). И у Пушкина: "...остервенение народа". Разве люди не рвались в бой за правое дело?! – Специалист по наполеоновской эпохе Е. В. Тарле утверждает, что крестьяне плясали от радости, когда их брали рекрутами в армию, – так велико было чувство ненависти к завоевателям (88:282). Но ненависти не слепой. Многим было присуще, пишет декабрист А. В. Поджио в первом номере "Голоса Минувшего" за 1913 год, ПРОЯВЛЕНИЕ ВЕЛИКОДУШИЯ К ВРАГУ – ИНОСТРАНЦУ. Какое-то относительное благородство, жалость, доброта и иногда тот же разгул русского человека со свойственным ему буйством и беспечностью. Рославлев под обстрелом обучает именно так мужеству одну из штабных крыс. Кстати, у Загоскина и французы не показаны "людоедствующими". Они, в отличие от изображения их Ф. Глинкой, тут больше как бы по заветам их соотечественника Ж. Ж. Руссо: одушевляться на войне не злобой, а мужеством, не проникаться к неприятелю ненавистью, не клеветать на его действия, не оскорблять его славы – держаться благородно, как сражались герои (77:430). "Все это, видите ль, *слова, слова, слова".* Увы и ах!

Наверняка Загоскин не по пушкинско-полининской карте военных действий, а по памяти ран изобразил войну, как испытал ее на своей шкуре и судьбах ближнего. Он не ездил на Бородино, как Лев Толстой в период создания "Войны и мира", но по горячим следам недавно смолкнувших боев изобразил военную правду. "Ложная" трактовка войны! А кому из смертных удавалось вообще изобразить ее "100%-но правдиво"?! Штабному писарю она может явиться бумажной. Умирающему на поле боя – возможно, серо-дымчатой и

горько-соленой – от вкуса запекшейся на губах крови... И в литературе о последней отечественной войне все не утихают споры о "генеральской правде", о "штабной правде", о "солдатской (окопной) правде". Советские сочинители "Истории Отечественной войны", прав Виктор Астафьев, давно потеряли право прикасаться к святому слову "правда", ибо от прикосновения нечистых рук, грязных помыслов и крючкотворного пера, оно – и без того изрядно в Союзе выпачканное и искривленное – пачкается и искажается еще больше. Вся 12-томная "история создана, с позволения сказать, "учеными" для того, чтобы исказить историю войны, спрятать "концы в воду", держать и далее русский народ в неведении относительно потерь и хода всей войны, особенно начального ее периода. И премию составители "истории" получили "за ловкость рук", за приспособленчество, за лжесвидетельство, словом, за то, что особенно высоко ценилось, да и сейчас еще ценится, теми, кто кормился и кормится ложью. Из 12-ти томов "истории", из хитромудро состряпанных книг русский народ так и не узнает, что стоит за словами "более двадцати миллионов", как не узнает и того, что произошло под Харьковом, где гитлеровцы обещали русским устроить "второй Сталинград"; что кроется за словами "крымский позор" и как весной 1944-го два фронта "доблестно" били и не добили 1-ю танковую армию противника – это не для советских "историков", это для тех, кто за морем пишет о войне все, что знает и что Бог на душу положит. Таким образом, как подытоживает писатель, существуют две "правды" о прошлой войне: одна "ихняя" и одна "наша", но все эти "правды" очень далеки от истины. Ловкачи-полемисты ведут споры по частностям, мелочам и ложно многозначительным, амбиционзным претензиям друг к другу – плохо замаскированная попытка крючкотворов увести в сторону, в словесный бурьян от горьких истин и вопросов и без того замороченного читателя, русский, не единожды обманутый, недоумевающий народ. Если однажды солгавший не может не врать, то каково-то становится творцам аж 12-ти томов. (В. Морозову и А. Самсонову – "историкам") ловко замаскированной кривды! Вот вам и "белые пятна" истории, разоблаченные неистовым русским протопопом Аввакумом XX века – инвалидом Великой Отечественной войны писателем Виктором Астафьевым. Справедливости ради отметим, что в советской прессе начали рассуждать о патриотизме простом и "военном"; выявляется различие патриотизма военно-ведомственного, приказного, связанного со страхом и подавлением (безнравственный отголосок "каннибализма"), и патриотизма более глубокого, отвергающего жестокость и дикость. Ведь судя по книге генерал-полковника Д. Волкогонова "Триумф

и трагедия", можно заключить, что пленение было, по существу, запрограммировано действиями высокого воинского начальства, которое не уделило должного внимания стратегической оборонительной операции, так как возможность прорыва крупных сил противника в глубь советской территории просто исключалась из рассмотрения. Кроме того, предусматривалось равномерное последовательное поступление на фронт эшелонов войск, вступление их в сражение поочередно, что облегчало задачу противнику, позволяя планомерно, по частям, уничтожать советские вооруженные силы. Уже в этом – предпосылка разгрома и, как следствие, – пленения и уничтожения крупных воинских подразделений и отдельных групп людей, которые были не в состоянии в ходе военных действий изменить ход событий. Руководство должно было "проиграть" все возможные варианты... Поэтому – гуманное отношение к пленным в духе старых гуманистических традиций России, выступившей инициатором Гаагских конвенций, – отражение одной из сторон общей гуманизации отношений в русском обществе – их подъема на более высокую ступень развития, осознания *взаимоответственности* человека и общества. Истинный патриотизм является не следствием словесных поучений, а глубоко выстраданной душевной потребностью, которая рождает благородные действия. Убить врага – дело не высокое, а вот победить его духом, правдой...

И еще одна ложь. Если бы Загоскин и вправду изобразил "чистой воды иллюзию" единения народа вокруг престола, то для чего бы понадобилось писателю Ивану Глухареву, вслед за ним, сразу же, "дополнять" Загоскина именно из-за "недоизображения" первым п о л н о г о слияния народа с Царем?! (23). Думается, исторически верную концепцию Загоскина Глухарев подправил "справа". Перелицована была сюжетная канва романа Загоскина: не Полина, а Ольга ехала с мужем (граф Левелев) в действующую армию, *в качестве "ангела-хранителя"* (без полининско-пушкинских помыслов партизано-террористических наклонностей), до конца разделяя с супругом тяжелый жребий защитника отечества ("отечество нам Царское Село" – прообраз "малой родины"), доказав верность своему женскому долгу и в интимных испытаниях, не запятнавших чести (у Загоскина нет донжуанящих воинов, но сестрицы постояли бы за себя). Однако в освещении женских судеб не было разногласия с концепцией Загоскина: просто Оленьке не выпал "фронтовой" жребий, что не умаляет ее достоинств в иной сфере проявления женственности. Но направленность страстей у сравниваемых разная: Полина – "к небу", больше к абстракции, живет пылом мгновения, принимаемого за вечность; Ольга – "зем-

ная". Полина через муки испытаний воссоединяет своей судьбой обе сферы, ликвидируя разрыв меж их устремленностями.

Пушкинская Полина, представляющая собой сгусток раздражающих "слез благородного восторга и жарких молений за отечество" (самого Пушкина в момент польского восстания), пожалуй, и не любит первого своего избранника. Это благородный жест к искупляющему ценою жизни "неуместную шутку", позволенную с ней. Подзадорила повесу, да "отсрочила свадьбу до конца войны" – чтобы суженый не мешал ей пока "заниматься, – как сказано у Пушкина, – одною политикой". Да и в "Записках" ясно сказано: "Она не была влюблена в брата" (рассказчицы). А как кощунственно подана рассказчицей гибель русского героя! – "Один из развозителей *всякой всячины*" (да, почта плоха, но за что столь безобразное снижение, опошление непочтительным упоминанием вскользь самой гибели за правое дело!) сообщил ей о гибели Алексея. И слезы ее "общи", нейтральны, а не сердечны – как бы вообще предназначенные "мученику герою". Она истратила запас слез на "благородные восторги", и не выдавить персональной слезинки за упокой души павшего жениха. Это не тот случай, когда сухо от горя. Просто нет чувств к избраннику.

А как обстоит дело со вторым – "невольником"? Он принимает ласки окружающих "с благородной скромностью"(!): не чета ведь "незначущим" (терминология "рассказчицы", ягодка "боярского" комплекса). Потому, оказывается, "незначущим", что воинскую присягу не забыли и в плену и остаются "фанатически преданными Наполеону". Странноватого рода "благородство" Синекура противостоит патриотизму товарищей по оружию. Да и нашли чем гордиться: "скромность" побежденного в принятии ласк – это скорее достоинство нецелованной барышни, а не боевого офицера в плену!

Забавно, что француз Полине "понравился тем, что первый мог ясно ей истолковать военные действия и движения войск"! Без такого она чуть было не "впала в глубокое уныние", видимо, будучи психически предрасположенной к немотивированной меланхолии, плюс довести могли до кратковременной потери пульса неполнота и замедленность поступавшей к ней военной информации! Прямо боязно себе представить, что могло бы с ней стать, коль не "добилась толку" от с в о е г о чужака. Ведь "от брата, – горюет повествовательница, – получала она письма, в которых толку невозможно было добиться; они были наполнены... пошлыми уверениями в любви и проч."! Поскольку Алексей – все о чувствах своих, а ей подавай не эту "пошлятину", – он в ее глазах "препустой человек". Вот и возникла прелестная картинка: она,

”облокотясь на карту России”, бедненькая, под обстрелом письмами жениха-”пошляка”, в ожидании настоящего информатора ”досадовала и пожимала плечами”! Под стать ”невесте” и подруга-”рассказчица”: при живом женихе не стесняется открыто сводничать – подталкивает робкого ”раненого рыцаря” к ”благородной владетельнице замка”, хотя тот уж и сам скумекал, что к чему: на редкость поразительно быстро и воистину удивительно ”глубоко чувствовал ее необыкновенные качества” (какие?!) – ”ее красота сделала на него сильное впечатление...”. Обычно впечатление производят, но в искусственном мире ценностей – ”делают” (как “make love”). Повторяю, ее поощряюще-развратный смешок – ”Я, смеясь, дала ему заметить, что положение его самое романтическое...” – якобы ”з а щ и т н и ц ы т е н и” честного, пострадавшего от навета человека (за кого ”рассказчица” себя выдает) – не что иное в контексте надвигающейся трагедии как развязное сводничество, ”прости Господи”, при живом еще спасителе родины; ведь только к концу ”Записок” она – из ”вдохновенного вида” Полины, вызванного гибелью Алексея (он теперь ”счастлив, он не в плену – радуйся: он убит за спасение России...”), могла всамделишно ”вскрикнуть и упасть без чувств”. Она и так все время ”без чувств” и вскриками исходит.

Этим эффектным припадком завершается, по-видимому, ”исправление”, не лучше насилия ”дуэтом” (поэт-рассказчица) над правдой загоскинского образа: подмена ее ”истиной” нового типа, или, попросту говоря, дешевой аффектацией подделки под искренность.

Горячечный бред и лепет уносит безумствующую Полину в сторону от целей установки – исправить нравы высшего света; она рвется в какой-то ”лагерь” (наполеоновский? русский? концентрационный? перемещенных лиц?..), видимо, мстить абстрактному врагу за абстрактную вину – физически (террором) и нравственно (агитацией и пропагандой). Но порывы ее горячки – осколки пушкинской мятежности. Все пройдет – и она·поостынет рядом с плененным дважды: пленом и пеленой дурмана, источаемого ее ”необыкновенными качествами”.

Кроме выкрикивания и торопливого выговаривания пушкинских сентенций и приспособленных, к ”случаю”, чужих или ходячих (тезис ”наш добрый простой народ” есть и в словах Чацкого об ”умном, добром нашем народе”, и в мемуарах многих декабристов, и будет позднее – у Герцена) аргументов, Полину выделяет из среды только ее повышенная возбудимость, ее форма социальной экзальтации. Она, в отличие от ”иных” светских дам, блестит на ”трибуне”; но вообще, как сказано в ”Евгении Онеги-

не", "хоть, может быть, иная дама толкует Сея и Бентама", однако "их разговор несносный, хоть невинный вздор". Полина, правда, не "рождает сплина" своим видом, даже напротив – тормошит всех, чем, по Пушкину, завоевывает сердца "идолов всех семейств", которые, хотя и не понимают ее, но охотно идут на вербовку гремуче-непонятным, и "уже любят" (русские любят веселье); а некоторые и преуспели в усердии своем – уже заметно "нечувствительно" (!?) "смотрят ее глазами и думают ее мыслями", ловят на ее "греческом лице" вымученную улыбку и лёт "черных бровей": "Я торжествовала, – трепещет преисполненная подобострастия "рассказчица", – когда мои сатирические замечания наводили улыбку на это правильное и скучающее лицо" (улыбка – расплата за клевету).

Любопытно, что почти все пушкинские персонажи женского пола много читают (количество прочитанных книг часто определяет даже их литературную судьбу: подначитала Татьяна еще материальчика и усомнилась в Онегине – "уж не пародия ли он?"), однако больше "без всякого разбора". Вызывает удивление, что Полина даже не поинтересовалась сочинениями Сумарокова – единственными русскими книгами в библиотеке ее отца. Наверняка Пушкин "запретил", ибо отозвался о нем уничтожающе: "несчастнейший из подражателей", "слабое дитя чужих уроков". За что так? Да, может быть, мстил обличителю пустозвонства и краснобайства. Сумароков был противником "громкости" и сопряжения далековатых идей. В статье "О российском духовном красноречии" Сумароков выразился так против витийственного начала: "Многие духовные риторы, не имеющие вкуса, не допускают сердца своего, ни естественного понятия в свой слог, но умствуя без основания, воображая не ясно". Началу ораторской "пылкости" противополагается "остроумие". "Острый разум, – пишет он в статье "О разности между пылким и острым разумом", – состоит в проницании, а пылкий разум в единой скорости. Есть люди остроумные, которые медленны в поворотах разума, и *есть люди малоумные, которые, и не имея проницания, единой беглостью блистают и подобных себе скудоумных человеков мнимою своею хитростью ослепляют..."*. Да за один такой прозрачный намек Полина уже могла бы презирать, как Пушкин, Сумарокова. Это ей Пушкин внушил, а сама ведь, как сказано, "никогда не раскрывала" единственного русского под рукой. Впрочем, такой подход к национальному, видно, не противоречит "патриотизму нового типа", как и не мешает ему нежелание знать свой народ, о котором "героиня" догадывается по "длине" мужицких бород.

Впрочем, стремительная эволюция – постоянная спутница поэта.

Это зимой 1811 года она "и мыслила на языке иностранном". Стоило появиться в Москве залетной знатной путешественнице мадам де Сталь – представительнице вихря "следующих поминутно, одна другой замечательнее" книг – и Полина мгновенно сметаморфозила, преобразилась: она – вся внимание, жадно вбирает все проявления "оригинала", который, "облокотясь на стол", "свертывая и развертывая прекрасными пальцами трубочки из бумаги" – "казалась не в духе... и не могла разговориться"!

Понятно, добрые москвичи в недоумении поглядывают на гостью, странно себя ведущую и одетую не менее шокирующе. Такого "позора" за Москву перед сочинительницей "Корины" трудно перенести Полине. "Глазение на нее", открытое недовольство ею, ибо "видели в ней пятидесятилетнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ее не понравился, речи показались слишком длинны и рукава слишком коротки...". В результате, Полина "сидела как на иголках". Когда же ее духовная пленительница разродилась-таки, видимо, пошловатым каламбуром ("вырвалось у нее двусмыслие, и даже довольно смелое..."), то Полина – в полном "отчаянии", нет, не от грязнотцы услышанной, а, конечно же, все от той же неисправимой "ничтожности" большого московского общества, оказывается, не *"привыкшего к увлекательному разговору высшей образованности"!* Прямо: умри, Денис, лучше не напишешь!

Защита француженкой де Сталь "русских бород" – сигнал для обличающего соотечественников нового выпада Полины. Каких только слов она ни наговорила в адрес "обезьян просвещения", их "тупых лиц, тупой важности"; даже от злости "готова была заплакать", но "рассудка власть" (как при обмороке Татьяны Лариной при появлении неожиданном Онегина) превозмогла, и она в знак протеста только что-то прошипела ("молвила тишком"), усидев-таки за столом, продемонстрировав лишний раз пушкинское умение умерять в нежелательное для него время дамские капризы трагинервического свойства. Вот так поистине "необыкновенная женщина", "славная", "столь же добродушная, как и гениальная"... Комментарии, как говорится, излишни. Похвала этой известной даме, которую "графиня Б" упорно считает "претонкой штукой", вовсе не считаясь с тем, что "гонимая" – "друг Шатобриана и Байрона" и никакая не "шпионка у Наполеона", – кричащая высь красноречия Полины.

Дальше наступает черед открытых пропагандистских действий против своего отечества, на руку воюющей с ним стороне. Сеется д е з и н ф о р м а ц и я. Так, в начале войны 1812 года Полина, не скрывая "своего презрения, как прежде не скрывала своего не-

годования" к обществу, вполне сознательно, "нарочно", как уверяет нас повествующая дама, сеяла слухи "о многочисленности Наполеоновских войск", возвеличивая и рекламируя его военный гений. Ее не посадили, но слушавшие открытую агитацию в пользу врага "бледнели, опасаясь доноса, и спешили *укорить* ее в приверженности к врагу отечества". Какое, однако, скрупулезное перечисление симптомов поведения "оригинала". Не понять было нормально реагирующим на войну согражданам, что Полина сеет панику все "ради отечества" (ср. "долг присяги" Петра Гринева в "Капитанской дочке" Пушкина)!

Рассказчица довольно профессионально подливает масла в огонь, играя на честолюбии девушки, поставляет ей вереницу "зацепок", полемических шпилек в адрес непоклонников поэта. Например, стоило Полине услышать "однажды: охота тебе вмешиваться не в наше (женское) дело. Пусть мужчины себе дерутся и кричат о политике; женщины на войну не ходят, и им дела нет до Бонапарта" -- мгновенно "глаза ее засверкали" пушкинским светом, гневной отповедью униженной героини и оскорблением ее творца. Как из рога изобилия посыпались исторические имена; эффект задетого нерва: "...а Шарлотта Кордэ? а наша Марфа Посадница? а *княгиня Дашкова?* (ср. с циничной оценкой ее Пушкиным. – Е. В.). Чем я ниже их? Уж, верно, не смелостью души и решительностью". Сравните тихую христианскую скромность карамзинской "Натальи, боярской дочери": "Поедем, мой друг! Лишь бы ты был со мною: я всюду готова... Кто защитит тебя?.. Нет, ты возьмешь меня с собою... – Поедем, – сказал он, – поедем и умрем вместе, если так Богу угодно! Только *на войне не бывает женщин,* милая Наталия! – ...Повсюду следовал за ним брат его (Наталья переоделась в мужскую одежду, мужеву, как девица Н. А. Дурова в войну 12-го года. – Е. В.), ...и закрывал его щитом своим...". Не соперничество с мужчиной, а полнейшая самоотдача женская, неразлучность в беде. Никакой пропагандистской шумихи по поводу очередной демонстрации "необыкновенных качеств души и мужественной возвышенности ума!". И тут же пульнула зачем-то пушкинским привесочком: цитатой из заключительного монолога Шактаса ("Рене" Шатобриана, из которого и для авторского примечания к "Евгению Онегину" тоже нашлись строки).

Пушкин не любил московское общество: "Я не люблю все, что пахнет московскою барышнею, все, что не comme il faut, все, что vulgar..." (письмо жене от 30 октября 1833 года); "...в пакостной Москве, которую ненавижу..." (письмо жене от 6 ноября 1833 года); "Московские дамы мне не пример. Они пускай таскаются по передним, к тем, которые на них и не смотрят. Туда им и доро-

га..." (письмо жене от 30 апреля 1834 года). Кстати, в письме последнем Пушкин прояснил свое отношение к стольному граду – хрен редьки не слаще. "Я зол на Петербург и радуюсь каждой его гадости"; или: "Ты разве думаешь, что свинский Петербург не гадок мне? что мне весело в нем жить между пасквилями и доносами?" – вопрошает он в письме от 26 мая 1834 года к Н. Н. Пушкиной. (Кстати, он бредил агентами охранки, стукачами; например, по ошибке считал связанным с Третьим отделением Н. А. Полевого). Но Москва для него хуже некуда. Поэтому, наверное, и с помощью Полины громится им "ничтожество" московского общества. Далее "Записки" уносят Полину в менее вроде бы "ничтожную" провинцию (она чуть снисходительнее описана). Впрочем, для человека с застывшей мыслью "чорт догадал меня родиться в России с душою и талантом" (письмо Пушкина жене от 18 мая 1836 года) – все в России дерьмо опостылое, и русская провинция: "...Калуга немного гаже Москвы, которая гораздо гаже Петербурга". Полина пушкинская – авторский громогласный рупор. Она бросается осмеивать чего сама не совсем понимает. Даже профессор С. Петров – ярый обличитель Загоскина – вынужден признать, что *"предмет сатиры еще не был полностью осознан ею"*, что вовсе не мешало ей, как говорится, воевать на всех фронтах. Абсолютно прав тонкий знаток проблематики "женщина в общественных движениях России" Александр Амфитеатров в своем утверждении: попытка Пушкина создать тип девушки-аристократки 1812 года, вдохновенно пылающей патриотизмом, оказалась "БОЛЕЕ ЧЕМ НЕУДАЧНОЮ" (4:13), Пушкин историю воспринимает как автобиографическую сопричастность. "...Этот Louis-Philippe у меня как бельмо на глазу. Мы когда-нибудь да до него доберемся..." (6 ноября 1833 г.). Биографический факт отражается на логике поступка героя. Вот Пушкин пожалован в камер-юнкеры. Хорошо известны угрожающие слова, записанные им в дневнике: "Так я же сделаюсь русским Dangeau". Мемуары маркиза де Данжо (1630–1720), одного из приближенных Людовика XIV, Пушкин воспринимал как документ обличительный. Обличительный характер носят и записки Пушкина, относящиеся к императору, быту двора, его портреты отдельных вельмож, характеристики верхов дворянства... "Писал стихи да ссорился с царями!" – как сам он выразился.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ИЩИТЕ И ОБРЯЩЕТЕ

Когда явился "Рославлев" Загоскина, времена стояли печальные: крестьянские "холерные бунты" призраком новой пугачевщины и солдатские восстания обрушились на Русь в 1830–31 годы. Особенно нервно реагировал Пушкин на террористические акты, сопровождавшие вооруженные выступления военных поселян: "...ты, верно, слышал о возмущениях новогородских и Старой Руси. Ужасы, – писал Пушкин 3 августа 1831 года князю П. А. Вяземскому. – Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в новгородских поселениях со всеми утончениями злобы... Там четвертили одного генерала, зарывали живых и проч. ...*Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы*".

"Положение дел весьма не хорошо, – заявил царь Николай I 22 августа 1831 года, принимая в Царском Селе депутацию новгородского дворянства, – *подобно времени бывшей французской революции. Париж – гнездо злодеяний – разлил яд свой по всей Европе.* Не хорошо. Время требует предосторожности".

В пропущенной главе "Капитанской дочки" дано отношение поэта к смуте: "Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка". Бунт крестьян – "был заблуждение, мгновенное пьянство, а не изъявление их негодования". "На другой день, – сказано все в той же "Капитанской дочке", – доложили батюшке, что крестьяне явились на барский двор с повинною. Батюшка вышел к ним на крыльцо. При его появлении мужики стали на колени.

– Ну что, дураки, – сказал он им, – зачем вы вздумали бунтовать?

– Виноваты, государдь ты наш, – отвечали они в голос.

– То-то, виноваты. Напроказят, да и сами не рады. Прощаю вас...:

повинную голову меч не сечет... Мужики поклонились и пошли на барщину как ни в чем не бывало". Классовая гармония. Этот отрывок, как и рассуждение о "русском бунте", – не включены в основной текст "Капитанской дочки". Двойственно и отношение Пушкина к "бунту". Эпикурейская, гедонистическая философия, французское вольнодумство перевешивают у Пушкина фольклорно-этнографические элементы русской национальной традиции. "Вольность", "К Чаадаеву", "Деревня" – "масло" вклада поэта в огонь бунтарства "вслед Радищеву". Зараза чужебесия помрачила сознания многим. Русский Император смотрел в корень зла. Христианская этика подверглась суровому испытанию на выживание. Люди разошлись по "боевым" общественно-политическим лагерям. Пушкин в главном не мог не согласиться с концепцией Загоскина (классовый мир царит меж большинством селян). Но будучи по природе и конституции организма двойственным, являл собой показательный пример естественной полемичности с идеями, проистекающими от моноконцептной позиции, неделимого нравственно-личностного сознания. Они непримиримые противники, антагонисты.

На выход "Рославлева" Загоскина критика откликнулась несколькими бледными и сдержанными отзывами (в целом): или глупо превозносили Загоскина "до уровня Гомера, Моисея...", или – вопреки авторской концепции о романе как таковом – упрекали писателя за "недоисторизм" в нем. Пушкин откликнулся на событие "$3^1/_2$ строчками": на два сравнительно легких "минуса" ("положения натянутые", "разговоры ложные") приходилось три несомненных "плюса" ("положения занимательны", "разговоры живы" и "все можно прочесть с удовольствием"). Общие слова. "Несерьезно" (65:109), по мнению И. В. Измайлова, Пушкин отнесся к роману Загоскина. И правда: незадолго до того поэт прочитал роман Стендаля "Красное и Черное", и вот в конце мая – начале июня, как раз в момент написания "Отрывка из неизданных записок дамы", Пушкин заметил о "Le Rouge et le Noir": "хороший роман, несмотря на *фальшивую риторику,* встречающуюся в некоторых местах, и несколько замечаний *дурного вкуса"* (65:116). Тот же критерий оценок, в тех же "баллах". Скороговорка констатации мелочей, некая уравновешивающая усредненность. Несерьезность ли только это? Если перед нами не "этикет", то "тактика": дается внешняя видимость нейтрально благозвучного отзыва, а внутренне – совсем другое на уме и сердце.

Кстати, для тех, кто верит в пушкинское "опровержение" загоскинской трактовки "несчастной". Борьба с "осквернителем праха" – это опять же так несерьезно. Не проще ли заключить: Пушкину попалась на глаза рецензия в "Revue de Paris" от 28 но-

ября 1830 года на роман "Красное и Черное" Стендаля, в которой подчеркивалось, что это де *"форменнный донос против человеческой души",* что "на каждом шагу хочется спорить с автором то за *фальшивое чувство,* то за *странную и мучительную ситуацию,* за *небрежность в ведении событий и характерах..."* Готовая формулировка об "опошлении" совпала и подстегнула, дооформила содержание возможных антизагоскинских аргументов. Не Вяземский, так Стендаль подсунул зацепку поэту. И разозлил еще: когда Пушкин бредил политикой, Стендаль позволяет себе в романе "назойливо" намекать противное: "Политика... — это камень, привязанный на шею литературе... Политика среди тем, созданных воображением, — это выстрел во время концерта. Этот шум раздирает уши, не являя никакой силы". Вот те на! И за "Евгения Онегина", пестрящего пустоватым многоточием, обида на этих французов — писателя и критика — удваивалась, за намеки типа: "Здесь автор хотел поместить *страницу многоточий.* Это будет иметь плохой вид, сказал издатель, а *для такого легкого произведения плохой вид — смерть...".* Пушкин ведь очень даже прислушивался к французам. Он, уверяет академик М. П. Алексеев, "не мог забыть наставлений, оценок и пристрастий, еще в юности внушенных ему французскими критиками" (2:246). Впрочем, кажется, Стендаль (да и Гоголь) — со своей манерой конденсации образа вокруг одного преобладающего качества — вряд ли был актуальным тогда, когда поэт от "психологии" повернул к "социологии".

Круг тем в пушкинском "Отрывке" искусственно приурочен к "Рославлеву" Загоскина, хотя некоторые из них, понятно, могли быть общими для того времени и для других писателей. Сложная дифференциация сопоставимых структур этих произведений смутила критиков. А. И. Грушкин, к примеру, считает, что Пушкин писал свои "Отрывки" едва ли не по пунктам своих политических расхождений с Загоскиным (только, вроде бы, "в одном" соглашается Пушкин с Загоскиным: Полина, "вероятно, ничего по-русски не читала") (25).

Ю. Г. Оксман утверждает в этой связи, что Пушкину "была чужда... вся сюжетная схема 'Рославлева' ". (68:731). Другие литературоведы, создается впечатление, уже растаскивают по мелочам связь этих вещей, и видят то, что им хотелось бы увидеть. Н. В. Измайлов — комментирует факт в свете отношения Пушкина к польским событиям 1831 года (65:109–12). П. Н. Сакулин — подчеркивает полемическую направленность против романа Загоскина (78.466–7). С. М. Петров — усматривает полемику писательскую, но больше со стороны "исторического романа о 1812 годе" (62:

133). С. А. Венгеров отмечает здесь "постановку женского вопроса". Образ Полины, по его суждению, достоин "самого пристального внимания". *"Полина не террористка, не Юдифь и не Шарлотта Кордэ* уже по одному тому, что она своего намерения не привела в исполнение. Подруге 'не трудно было убедить (Полину) в безумстве такого предприятия'. Настоящую Шарлотту Кордэ никто не убедил. Пред нами, следовательно, лишь настроение" (15:127). П. В. Владимиров – встречается здесь "с целым очерком русской литературы" момента, когда "из космополитки явилась патриотка" (18:54). Ощупывания, как слона слепцами в анекдоте, ни к чему путному не привели. Итогом "заострения-разоблачения" в исследовании "Рославлевых" явилась на свет в 1966 году коллективная монография, в которой узаконен мертвый штамп предварительных выводов и голословно заявлено, что *"выяснена полемическая направленность* произведения Пушкина *против реакционно-националистического* романа Загоскина, раскрыт образ Полины (Пушкиным – Е. В.) – русской женщины-патриотки". Жалкая протокольная резолюция.

Тема "Отрывков" была тесно связана и с "Евгением Онегиным", и с другими творческими замыслами Пушкина. "Рославлев" подготовлен предыдущими прозаическими набросками из светской жизни. Насмешливо наблюдательное отношение Полины к московскому Свету развивает, по мнению Н. О. Лернера, эскизные зарисовки образа героини "Романа в письмах" (49:37-8). "Гостиный роман, – писал Вяземский, переводчик "Адольфа" Б. Констана, – должен быть романом века" (45:14-5). Вот Пушкин, видно, и попробовал "окончательно опрокинуть все, – выражаясь словами Ел. Гладковой о "Рославлеве", – что было традиционным для 'светской' повести" (22:315).

Мысль о создании русского романа очень занимала Пушкина. В "Романе в письмах" автор от лица одной из героинь говорит: *"Умный человек мог бы взять готовый план, характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки* – и вышел бы прекрасный, о р и г и н а л ь н ы й роман. Скажи это от меня моему неблагодарному Р* ... Пусть он *по старой канве вышьет новые узоры* и представит нам в маленькой раме картину света и людей, которых от так хорошо знает". Пушкин поделился с современником своим методом. Анна Ахматова – тонкий знаток лаборатории творчества Пушкина – утверждает, что "тот метод" обнаруживается в "Рославлеве", "Барышне-крестьянке", "Русском Пеламе". Значит, Пушкин уже в 1829 году задачу создания светской повести решал методом обработки чужих произведений, переделки их по

своему усмотрению – "чтобы превратить, – полагает А. А. Ахматова, – готовую сюжетную схему в конкретное произведение с определенным материалом". Вот так "оригинальный" роман!

О знакомстве Пушкина с посмертным трактатом госпожи де Сталь 'Considérations sur... a la Revolution Française..." (1818), в котором представлен был с точки зрения либерализма анализ различных политических форм, сменившихся во Франции с 1789 года до реставрации Бурбонов, – пишет М. П. Алексеев, что подтверждается эпиграфом из указанной книги в четвертой главе "Евгения Онегина" и цитатой (начальные слова 2-й главы 1-й части), которую Пушкин приводит в своей статье о "Юрии Милославском" Загоскина в "Литературной Газете" за 1830 год: "Люди, как утверждала Madame de Staël, знают только историю своего времени..." (2:232).

Значит, Загоскин – только повод и готовая сюжетная канва для пушкинских манипуляций с чужим материалом. По мнению пушкиниста Б. Томашевского, основным источником пушкинского "Рославлева" являются записки мадам де Сталь "Десять лет в изгнании", "с именем которой в его собственных воспоминаниях связаны и первые его шаги в области политического воспитания, и первое знакомство с новыми идеями в литературе" (93: 143-4).

С тревогами 1830 и 1831 годов связаны дискуссии широкого философско-исторического плана о русском народе и судьбах государства. К этому же времени у Пушкина сложились взгляды на народность в литературе и народ. Поэт Н. М. Коншин, совмещавший служение музам с весьма прозаической работой правителя дел Новгородской секретной следственной комиссии, в письме к Пушкину в первых числах августа 1831 года поведал адресату о страшном: "Кровавые сцены самого темного невежества перед глазами нашими перечитываются, сверяются и уличаются. Как свиреп в своем ожесточении народ русской! Жалеют и истязают; величают Вашими Всокоблагородиями и бьют дубинами, – и это все вместе. Черт возьми, это ни на что не похоже! Народ наш считаю умным, но здесь не видно ни искры здравого смысла". Эти заключения, комментирует приведенное письмо Ю. Г. Оксман, не вызывают у Пушкина никакого протеста, никаких сомнений: их позиции, по всей вероятности, довольно близки.

В "Рославлеве" суммируются разбросанные пушкинские заметки, написанные поэтом в 1820-х годах и отражающие круг вопросов, связанных и с проблемой народности. Хотя бы поэтому, произведение это настолько же относится к области художественной прозы, как и к области публицистики и литературной критики.

Не следует забывать, что уже Белинский характеризовал жанр "Рославлева" Пушкина только как "журнальную статью" (11: 578).

Когда Пушкин написал заметку о народности, он напечатал статью "О г-же Сталь и о г. А. М-ве", где вступился за французскую писательницу по поводу статьи Муханова, резко критиковавшего книгу де Сталь "Десять лет в изгнании". Вообще же "Рославлев", в части, касающейся мадам де Сталь и русского общества 1812 года, по мнению Б. Томашевского, "является развитием мыслей, содержащихся в рецензии о статье А. М-ва" (92:89). В рецензии этой говорится о "замечаниях, разительных по своей новости и истине" – таковыми представились Пушкину слова де Сталь. Эти путевые очерки поездки де Сталь по России в 1812 году Пушкин цитировал и в примечаниях к первой главе "Евгения Онегина". И вот в этих самых путевых записках мы находим отзыв о "Дмитрии Донском" Озерова: "Я была на представлении русской трагедии, написанной на темы об освобождении русских...; ритм стиха, декламация, распределение сцен, все было французское; одно лишь положение связано было с русскими нравами: *глубокий ужас, внушенный девушке боязнью отцовского проклятия"*.

Пушкин "усугубил отзыв Сталь, не признав народности и за этой единственной ситуацией" (93:126): "Дмитрий Донской", действие 2-е, явление 1 е. "Глубокий ужас отцовского проклятия", звучащий в драме Озерова, мог соединиться в сознании Пушкина со стендалевской подсказкой и отечественным "проклятием оскорбленных россиян", образуя горькую судьбину Полины за иностранцем, чтобы вступиться за свободу в чувствах и мыслях был повод за нее. И Озеров – "последний луч трагической зари" – понадобился лишь как функция, единственной деталькой сквозь призму французскую, чтобы от нее танцевать в свое "оригинальное". Что-то не пахнет здесь "народностью", и угол зрения никакой не "шекспировский" вовсе (Шекспир показал нам внутренний мир человека, а тут – поверхностно-случайный), а все тот же – сталевско-пушкинский.

Пушкин знавал дам и частенько защищал их. Вот и Н. А. Дурову – героиню войны 1812 года – пришлось ему спасать от сплетен. Познакомился он с ней задолго до выхода в свет первой части своего "Рославлева" ("Современник", 1836, том 3-й, с. 197–203), помог редактировать и опубликовать ее записки. Благодарная опекуну, Дурова пишет: "Наконец и клевета сделала мне честь, устремила свое жало против меня! Добрая приятельница моя, госпожа С..ва, рассказывала мне, что в каком-то большом собрании говорили о моих записках и Пушкин защищал меня. – Защи-

щал! Стало быть против меня были обвинения" (29:248). Для оформления образа Полины "правильной" с помощью и черт натуры Дуровой истине женского пола так не хватало "гвардейских усов"!

Допустим, "рыцарская" защита дамы. Но отдаст ли Пушкин "очищенную" Полину французу? Снова: и да, и нет. И вот, пожалуй, почему. В 1823 году Густав Олизар (1798–1864), киевский помещик и польский граф, неудачно сватался к Марии Николаевне Раевской. Отказ по причине разницы религий и национальностей. Откликнулся Пушкин и на этот факт – посланием к "Графу Олизару" (ср. со стихотворением Хомякова "Иностранке" – А. О. Россет, 1832), где объяснил свой взгляд на "смешанные браки" с "народными врагами": "И тот не наш, – провозгласил поэт осенью 1824 года, – кто с девой вашей кольцом заветным сопряжен; не выпьем мы заветной чашей здоровье ваших красных жен...". Пока "вражда издревле" – никакого компромисса быть не может: даже прославляется поистине зоологическая ненависть к врагу в форме похвалы садистской расправе над ребенком (о, слезинка младенца у Достоевского!): *"...и мы о камень падших стен младенцев (ваших) избивали,* когда в кровавый прах топтали красу костюшкинских знамен..."! И выстрел выводом: "...и наша дева молодая, привлекши сердце поляка, отвергнет гордою душою любовь народного врага". Когда Польша сдастся на милость победителя, по Пушкину, – "на племена нисходит мир" благословенный (67:384). Вопрос о браке Полины с Синекуром без ответа, в шатком равновесии взаимоисключающих шансов, и прав С. М. Петров, "едва ли могут здесь помочь и параллели с содержанием романа Загоскина" (63:94).

Если считать "Записки" – отрывком, введением, вступлением к роману, то, бесспорно, должна бы быть показана любовь Полины и Синекура, которая, однако, совсем не обязательно окончилась бы "трагической гибелью героини" (63:94); ведь направленность развития характеров, интерпретированных по-разному, – могла привести и к разным жизненным финалам. "Совершенно очевидно, что при резко иной, по сравнению с Загоскиным, обрисовке действующих лиц, и аналагичные фабульные события должны были предстать *совсем в другом свете"* (39:443). У ПУШКИНА МОСКВА ТОЛЬКО В ПЛЕНУ, А У ЗАГОСКИНА СВЯТАЯ РУСЬ У ПОГИБЕЛИ!

Составные элементы пушкинского "Рославлева" винегретно-собирательные. В самом образе Полины, кроме отмеченного, Пушкин "как бы намечает черты тех двух психологических типов, ко-

торые он обрисовал в скептике Онегине и возвышенном романтике Ленском, – представителях более поздней эпохи" (64:106). "Записки" неполноценны, и не потому, что профессор Петров усматривает – "судьба Полины и вообще протестанта-одиночки теперь меньше занимает Пушкина", как и "вопрос об истоках и развитии декабристского движения терял для Пушкина свою недавнюю актуальность" (64:106); этот "Отрывок с французского" не удался, не "выстрелил" оттого, думается, что и "исправлять"-то оказалось нечего, и жанр развернутой статьи на этом исчерпал свои внутренние возможности, и не знал сам, как от своего искусственного детища-присовокупления "абортироваться", избавиться; повторить за Загоскиным линию судьбы Полины принципиально не мог и самолюбие мешало (нелепой тогда обнаружилась бы претенциозная заявка рассказчицы), да и некуда было вести героиню крепкой национальной традиции ("...а куда я тебя понесу?"). Вот и бросил ее вместе с затеей над ней – на спасительной "обморочной" сцене, из которой дама повествующая так и не вышла в продолжение песни о "подвигах" своей подруги. Дальше – начиналась "проза жизни", к чему Полины не готовы, коли и любить-то "не научились". А декабристы тут не при чем, как и якобы конец "протеста одиночки" (он у Пушкина нескончаемый, пожизненный).

Поскольку линией нравоучительных замыслов связан "Рославлев" с "Онегиным", вот несколько предполагаемых предшественников пушкинского романа в стихах. В 1799–1800 годы баснописец Измайлов издал роман "Евгений, или пагубные последствия дурного воспитания" (в двух частях). Это имя, только в женском роде, тотчас же повторилось – в повести Остолопова "Евгения, или нынешнее воспитание" (1803); "Евгения, или письма к другу" (1818) (18:18).

Проблемы "нынешнего воспитания" и последствия его ставятся и решаются в резко обличительной форме, не терпящей отлагательства. Важно иметь в виду, что "Заметка о народном образовании", написанная по поручению Императора, очевидно вытекала из разговора Царя с Пушкиным, в котором поэт указал на плохую систему воспитания русских дворян, как на причину появления декабристов. "Воспитанная" Полина, как ни парадоксально, служит образцом дурного русского тона. Так что в основном правильно поставленный поэтом диагноз пушкинской Полиной не "излечивается", а усугубляется "болезнь". Слепой учит подслеповатого, как бестактность – такт.

Порой публицист в Пушкине вытесняет поэта. В "Рославлеве", замечает В. Э. Вацуро, "социология" уже прямо вытесняет "пси-

хологию": Пушкин, поставив в центр своего повествования героиню Загоскина, "как будто отвлекается от индивидуальных особенностей ее характера или, во всяком случае, ищет их в иной сфере (14:154). Он, признавая русских женщин несравненно просвещеннее мужчин (что не мешало ему в письме к жене от 29 сентября 1835 года обозвать одну из жоржсандисток "дурой"), ставит проблему "женщина в современном русском обществе", что и составляет содержание и рассказ о самовоспитании Полины и осуществляет параллель Полина – мадам де Сталь (художественное воплощение принципа женской эмансипации). Характер Полины – разновидность женских пушкинских образов: от Татьяны до героини "Романа в письмах" и Вольской в отрывке "Гости съезжались на дачу", где, кстати сказать, на периферии повествования появляется фигура де Сталь. Возникает совершенно определенный социологизированный тип: женщина, эмоции которой сосредоточены преимущественно в сфере актуального бытия ("business woman"). Поэтому вовсе не случайно Лиза в "Романе в письмах" начинает говорить языком самого Пушкина, а в "Рославлеве" в уста героини и рассказчицы вкладываются пушкинские рассуждения об общественной роли женщины, вошедшие, в частности, в "Отрывки из писем, мысли и замечания". Для прямого воздействия на русских женщин и через них на нравы общественные Пушкин одно время даже хотел направить на эту цель свой журнал. И не следствием ли дурного воспитания явилось предпочтение Синекура – по идее "представителя европейской образованности" – просто жениху речистому в любви? "Национальный" характер Полины удивительным образом походил на ужимки французистые "обезьян просвещения"!

Таким образом, если у Загоскина женский характер – некая постоянная в своих сложившихся параметрах величина, неизменная положительная данность, обязательно добродетельная и сердечно отзывчивая, или гармонично взаимосвязанный "биолого-психологический комплекс в сугубо индивидуальной его форме", то у пушкинской Полины – "линейно зависим" от схем общественного бытия, социально обусловлен, например, факторами "просвещенного критерия"; в ней заметна деформация естественного субстрата – основы нравственной личности – ради сомнительной "прелести": стать, при таких-то крайних ее наклонностях, нечто противоположным "назначению женщины" по Слову Божьему и "беззаконно" существующим в явном несогласии с традиционным представлением на Руси о сути женщины как таковой, принципиально соприродной.

Значит, Пушкин подвергает в своих целях суховатый текст мемуаров мадам де Сталь "некоей художественной стимуляции", развертывая ее беглые замечания "в эпизоды и *даже сюжетные мотивы*". Так, одна из центральных сцен "Рославлева" – столкновение Полины с московским светским обществом – есть, по заключению Б. В. Томашевского, *драматизированный фрагмент* XIII главы записок де Сталь, где содержатся элементы очень важной для Пушкина концепции общества "просвещенного" и "непросвещенного" (92:87-8).

Отзвуки этой главы уже были в третьей части наброска "Гости съезжались на дачу" (1830). Пушкин цитирует "Dix années..." в примечаниях к "Евгению Онегину": "Наши дамы соединяют просвещение с любезностью и строгую чистоту нравов с этою восточною прелестью... *Переживания Полины,* – продолжает Томашевский свой обзор фактов, служащих подтверждением насколько мысли де Сталь усвоены Пушкиным, – параллельны впечатлениям м-м де Сталь". Общий смысл: как ничтожно русское большое общество! Пушкин настолько был занят в "Рославлеве" образом своей вдохновительницы де Сталь, что, излагая события, иногда буквально повторяет ее: "Везде толковали о патриотических пожертвованиях. Повторили бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим имением". Это, по мнению Томашевского, целиком взято из "Chap. XIV" указанной вещи знатной француженки. Не мог Пушкин без внимания пропустить и замечания мадам де Сталь о подражании французским образцам, и о том, что русской литературе не свойственны отвлеченные идеи, и многие другие моменты в ее петербургских впечатлениях. Профессора Б. В. Томашевского поражает "размер внимания", оказанного Пушкиным этим путевым заметкам (92:83-95).

От просветительской литературы XVIII века идет антитеза "света" и центрального героя "дикаря", пренебрегающего условностями общества во имя "естественных" форм чувства и поведения. Но "естественность" пушкинской Полины, видимо, в таком случае от "дикарей" переняла шумливость, даже если патетическая декламационность – пусть, от духа эпохи. В Полине нет простосердечной мечтательности Татьяны или Машеньки, нет обаяния непосредственности и душевной глубины, ее "оригинальность" суше, облик трезвее, меньше полутонов и меньше поэзии – решительнее и резче воспитанницы петербургского большого "света", среди которых Полина – самая крайняя. У этой, по мнению А. Лежнева, "первой феминистки в русской литературе" патриотизм оттесняет личные чувства на задний план, да они у

ней и не особенно сильны. Но если "сильная" героиня не является у Пушкина отрицательной тезой, то и "смирный" тип (терминология Ап. Григорьева), полагает Лежнев, нельзя рассматривать как положительный антитезис (48:208-220).

Не за Загоскиным, так за Шатобрианом в конце концов повторил Пушкин мысль, от которой бежал: "Счастье только на избитых дорогах" ("Il n'est de bonheur que dans les voies communes" – эта фраза из заключительного монолога Шактаса из "Рене" Шатобриана есть в письме Пушкина к Н. И. Кривцову и приведена в "Рославлеве". Источник цитаты раскрыл впервые В. Л. Комарович). Одной рукой рисовал, а другой перечеркивал "трибунный" путь своей Полины. Повторил поэт формулу шатобриановскую "избитого счастья", да "поступил, – говорит, – как люди": женился "без упоения, без ребяческого очарования", а "хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды избираемого состояния". Подумал: молодость прошла "шумно и бесплодно"; жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья ему не было. Будущность явилась ему не в розах, но в строгой наготе своей, с неизбежными "домашними расчетами". Так поэт в письме к Кривцову от 10 февраля 1831 года попробовал переосмыслить свое "ошибочное" прошлое. Минорный тон приведенных выдержек из этого письма отражает грустное забвение "летающих ложек", в связи с переориентацией (по семейным обстоятельствам!) с воспетых частей дамского тела к духовности "земного порядка". Заострение мыслей на "бестелесности" – однако, может рассматриваться не только как "отставка" искушениям и отрицание раскаянное "бесплодного" прошлого, но и как замирание от предвкушения сладких мгновений новизны.

Для эпохи "Рославлевых" характерно описание нравов, при замедленной разработке характеров. Упрекали в "бесхарактерности" не только "Рославлева" Загоскина, но и "Ивана Выжигина" Булгарина, хотя герой последнего и был, говорят, задуман таковым: как существо подвластное обстоятельствам. От скорейшего создания характеров в литературе зависел успех в изображении нравов русской жизни. Пушкин образом Полины попытался опротестовать светские представления о нравственности, попробовал "перевернуть" их основы. И что главное – нет худа без добра: помогая врагу и провоцируя обвинениями вялых русских простаков, она способствовала, как это ни странно – пусть хоть методом от противного – укреплению национального духа. Полина сама не свободна – она в плену социальных страстей, привязанностей "временного ряда", новых предрассудков ожесто-

ченной симпатии. Герои того времени оставались персонификациями "пороков", "слабостей" или ведущих страстей. Булгарин, кстати, почувствовал, что борьба за "характеры" в культуре может угрожать главному – идеям. Поэтому он, в одном из писем к А. В. Никитенко, совершенно серьезно предлагал *развивать характеры так, как это будет угодно цензуре, если она не коснется основной идеи романа* (75:173). И вовсе не за пушкинской сатирой, оказывается, а за "нравственно-сатирическим" романом булгаринского варианта, по мнению В. Э. Вацуро, "стоял определенный тип бытописания, принадлежавший *большой литературе* (14: 152) (ср.: А. И. Солженицын в изгнании поразился и порадовался расцвету "именно на главном стержне русской литературы", имея в виду "деревенскую" прозу – "это труднейшеее направление *наших классиков").* Исторический роман, изображающий русскую жизнь пусть даже совсем недавнего прошлого, сливается постепенно в течение XIX века с бытовым романом. "Война и мир" – блестящее завершение эволюции этого вида.

Нередко Пушкину казалась истина "искривленною". Так, он явно раздражен суммарными характеристиками "света" и пишет иронический пассаж ("Роман в письмах", 1829) против Надеждина, представлявшего, как и Булгарин, светскую жизнь якобы "в искаженном виде". Бестужев, например, за такое "искажение": он именно с позиций "нераскольнического", "суммарного" метода оспаривает "Онегина", упрекая Пушкина в незнании высшего света. Но Пушкин – "выше критики" – даже в седьмой главе "Онегина" описывает Москву сгустком красок "Горе от ума", что сразу же заметил Булгарин. Грибоедовский концентрации смеха хватило еще и на "Рославлева". Но, забирая "соль и перец" (остроту художественной окраски) грибоедовской палитры, Пушкин в то же время умудряется быть еще и недовольным самой архитектоникой грибоедовского решения: тем, что герой выведен за пределы среды и ей противопоставлен (XIII). А Полина его?! Использовал и поругивал. Вяземский утверждает, что Пушкин невысоко ценил дарование и комедию Грибоедова.

Так из публицистического субстрата – чем представляется "Рославлев" Пушкина – вырастают характеры "статейной структуры", естественные проявления которых тщательно подгоняются к пушкинской социальной концепции; их "самодеятельность" абсолютно ничем не отличается от пушкинских настроений того времени, адекватна им. Полина его обхаживает мадам де Сталь и ее глазами – как и сам Пушкин ("рассказчица"?!) – смотрит на окружающее. Рассказчица лишена всех индивидуальных признаков неза-

висимого своеобразия личности: с первых строк "Записок" она "влюблена" в Полину (тактический ход повествователя), и поэтому не представляет разнящейся оценки обозреваемого. Она – тень полино-пушкинского откровения и "поставщик" зацепок для развертывания Полиной пушкинских персональных и присвоенных им чужих "козырей". Поэтому "дуэт" рассказчицы и Полины – все тот же всепроницающий авторский голос, узурпирующий право героев на самостоятельное самовыражение.

Расстановка действующих лиц, само поведение героев пушкинских в значительной степени определяется принадлежностью их не к светскому обществу вообще, а к тем или иным его "слоям". Эти возведенные искусственные границы внутри самого общества ("слои", "прослойки") внушали людям не мир, а войну – ибо Пушкин боролся за "единодушное" изгнание неугодных ему вещей, но вполне естественных для русской традиции. В этом смысле Пушкин "партиен", хотя и с колеблющейся программой действий – манипулирующий инакомыслием ради осуществления индивидуального бунтарства.

Его уже не устраивает поэтому и психологический анализ типа "Адольфа" Констана, этого верного отпечатка времени своего; поскольку в этой вещи незаметны потребные поэту социальные коррективы – она "не специфична" для русского быта. Отныне психологическая глубина измеряется диапазоном громкоговорения бытийствующих героев. Полина загоскинская, нетрескучефразая, вполне могла показаться поэту "опошленной". Между тем, как раз психологический рисунок ее характера "лишен однолинейности и достаточно сложен: чувство ее к Сеникуру не есть примитивно объясненная 'измена долгу'; в нем нет ни субъективного, ни объективного 'преступления'; оно близко к трагической вине и является для самой героини источником жестокой душевной борьбы" (14:154).

Этого не почувствовал Пушкин, занятый разоблачением "бальных диктаторов" и непрерывно обстреливающий с "боярских" позиций супротивное в аристократии. "Боевая" Полина пушкинскими сентенциями оглушила робких "уездных барышень", смутила их наивную чистоту – Лиза свысока характеризует Машеньку, и чуть ли не издевательски вторит ей подруга: "Уж не сделалась ли ты уездною героинею?"! Немодной становилась застенчивая женская прелесть, попранная растленным двором Екатерины II и ее фаворитов. Кастовая же "честь" отстаивается Пушкиным. Так, в "Капитанской дочке" Андрей Петрович Гринев наставляет сына-офицера: "Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не

отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду" (8, кн. 1). Эту "честь" сохранил и он сам, преждевременно уйдя в отставку, чтобы отстоять то, "что почитал святынею своей совести". Образ старого оппозиционера, прозябающего в деревенской глуши за свой рыцарственный легитимизм в 1762 году, по мнению Ю. Г. Оксмана, принадлежал к числу любимейших образов Пушкина (см. "Мою родословную", "Родословную Пушкиных и Ганнибалов", данные о "славном 1762 годе" в "Дубровском"). Этот образ был связан даже с семейными преданиями об опале деда поэта, Льва Александровича:

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь Петергофского Двора,
Как Миних верен оставался
Паденью третьего Петра.

Нет, женская духовность исчисляется не количеством "прочитанных книг и газет" и не может быть подвергнута сомнению вследствие предпочтения ею верной любви – чтиву.

При всех "титулах" Полины: "пионерка русского женского движения", "усилила" (49:37-8) пушкинскую же Лизу (чтобы стать литературной "матерью" тургеневской Елены и "бабкой" "Русских женщин" Некрасова), – она невольно отошла от сути Татьяны Лариной, и не тем, понятно, что черпала свои чувства и мысли из "Коринны" де Сталь (как Татьяна – из "Элоизы" Руссо). Это явилось следствием несовместимости параметров разной духовной субстанции и ориентации сравниваемых. Татьяна выше Евгения. Достоевский подметил, что "Евгений Онегин" должен был бы, по идее, называться именем Татьяны, так как она – главная героиня романа. "Весь смысл, – констатирует в этой связи факт философ Лев Шестов, – нашей литературы в этом: у нас герои – не Онегины, а Татьяны, у нас побеждает не грубая самоуверенная, эгоистическая сила, не бессердечная жестокость, а глубокая, хотя тихая и неслышная вера в свое достоинство и достоинство каждого человека... Онегин ушел от нее (Татьяны) опозоренный и уничтоженный в своем бессмысленном отрицании... Победа – нравственная конечно – Татьяны над Онегиным – есть... символически выраженная победа идеала над действительностью... (98: 58-9). ТИХАЯ И НЕСЛЫШНАЯ ВЕРА В ДОСТОИНСТВО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА -- вот чего катастрофически не хватает Полине. "Истина, – сказал Фридрих Ницше, рассуждая о философах, – является как социальная потребность; впоследствии, путем переноса, она применяется ко всему, где она и не нужна". Не с тем ли

случаем сталкиваемся мы в этом пушкинском "Отрывке"? Здесь по заказу социальной нужды женщина будирует общественную спячку, но при этом страдает сама любовь: она отодвинута "более актуальным" на задний план и оказывается неприятной помехой в личных устремлениях Полины к вопросам социальной важности. Пламенеющая патриотка, вознесшая свою надменную голову перед настоящим идеалом добра, ложно понимает присвоенные ей высшие добродетели: ей уже не до спасения погибающего за нее и страну ей "не до нежностей", пока головка забита схемами все тех же разновидностей духовных приключений, чем и выглядят "газетные" мотивы ее сближения с Синекуром.

Мы не знаем, какой первоначально рисовалась Пушкину его Полина. С Татьяной было легче: Онегин должен был увести ее. Поэтому "идеально-чистой" она осталась по недоразумению, вырвавшись из готовящейся интрижки с Евгением и "самородившись" явлением исключительным, хотя и "незаконнорожденным". Зато уж Полину Пушкин "не отпустил" ни на шаг от себя, пока весь ею ни выговорился. О Татьяне, после третьей главы "Евгения Онегина ("Барышня"), говорили повсеместно как о живом лице; и автора упрашивали получше устроить ее судьбу. Сразу же нашлись живые оригиналы ее: в качестве прототипа Татьяны называли Наталию Дмитриевну Фон-Визину (урожденная Апухтина), Раевскую, Строганову (Кочубей). Полина же на русской почве выглядела "безродной"; родня ее – книжная, фигуральная. Эта "пионерка" – экстравагантное детище собирательных усилий поэта. Намекают, что "такой боевой" была Дурова, отличившаяся в войну 1812 года. А профессор Венгеров квалифицирует ее как "тип террористки". Такой, возможно, она родилась вся "сразу", без начала и конца.

Кто-то из пушкинских планов дерзко "вырывался". А некоторые бесконечно видоизменялись до неузнаваемости. Так, характеристики Евгения и Ленского менялись, перестраивались, переиначивались несколько раз, причем до неузнаваемости первоначального их вида. Ленский задуман был как "романтик". Но рисовка его вначале двойственна и неуверенна: "родился" *крикуном и мятежником* (не потому ли профессор Петров в Полине находит черты Ленского?) "странного вида", и только впоследствии "мечтатель" вытесняет "мятежника", а потом, регрессивно, и "крикуна". Он должен был противополагаться элегикам, "певцам слепого наслаждения, передающим впечатления в элегиях живых", но в итоге – именно элегик-ламартинист, против которого боролся как Пушкин, так и Кюхельбекер (прототип Ленского?). В Ленском пародически перечислены элегические темы, уже к тому времени ис-

черпанные и "запрещенные". В рисовке Ленского – носителя дежурных функций пушкинской заданности – обычная манера изображать героев такими, какими они нужны, а не есть на самом деле: черты персонажей "Евгения Онегина" важны Пушкину не сами по себе, не как типические, а как дающие возможность отступлений. Ленский, утверждает Ю. Н. Тынянов, становится элегиком по контрастной связи с Онегиным и по злободневности вопроса об элегиях, что дает возможность внедрения злободневного материала.

С Пушкиным трудно спорить, ибо персонажи его "текучи", произвольно попадают как бы "в другую дверь". О нечетком размежевании в сознании поэта характеристик героинь "Евгения Онегина" говорит и то, что вычеркнутая строфа (после XXI) главы II, первоначально относившаяся к характеристике Ольги, затем, по авторскому намерению, досталась Татьяне! Хоть гены у сестер одни, да склад натур и пути разные. Вместе с тем, видимо, для пушкинского сознания эти женские типы не столь "неслиянны". Общее место для кочующих черт есть в натуре сестер. Постоянная соприродность их не позволяет одну из них считать сугубо "небесным созданием", а другую – абсолютно "земным". И Онегин пережил "мутацию": задуман героем (черты "демона" – прообраз Раевского), а в результате этот предок античного Аннэя Серена (родственника Сенеки) осмысливается пародически. Поэтому, по мнению Тынянова, герои, названные в критике типами, были только "свободными, двупланными амплуа для развертывания разнородного материала"; и название глав посему столь общее – "Поэт", "Барышня".

Какой же такой "разнородный материал" собран в пушкинском "Рославлеве"? Если у раннего Пушкина тема "русские в 1811–1812 годах", всю жизнь его волнующая, освещается контрастным противопоставлением "сынов России", "русских", "россов" – "надменным галлам", "галлам хищным", "врагам отечества", то позднее (уже в "Рефутации г-на Беранжера") все подается в сугубо социальном аспекте. В основу характеристики светского общества России 1812 года он положил свои саркастические московские впечатления 1831 года: "Москва – *это город ничтожества,* – писал он Е. М. Хитрово 26 марта 1831 года, – политические новости доходят до нас поздно или искаженными. Около двух недель мы не знаем ничего определенного о Польше и ни у кого нет никакого беспокойства и нетерпения... – Мы жалки, мы печальны и тупо подсчитываем, насколько сократились наши доходы".

В черновых набросках "Путешествия из Москвы в Петербург" (Радищев наоборот) эти же наблюдения впоследствии были обоб-

щены в строках: "Ныне нет в Москве мнения народного: ныне бедствие или слава отечества не отзывается в ее сердце. Грустно было слышать толки московского общества во время последнего польского возмущения. Гадко было видеть бездушного читателя французских газет, улыбающегося при вести о наших неудачах". То же и в стихотворном наброске "Ты просвещением свой разум просветил" – гневные строчки об одном из этих "бездушных" пораженцев 1831 года: "Ты руки потирал от наших неудач. С лукавым смехом слушал вести. Когда бежали вскачь............... И гибло знамя нашей чести". Эта точка зрения Пушкина полностью усвоена Полиной в "Отрывке из неизданных записок дамы" – эпизоде борьбы поэта с "безродным космополитизмом" (термин переполнил "содержанием" Сталин).

Если Загоскин, д р у ж е с к и о б л и ч а я московских галломанов 1811 года, которые из патриотических чувств высыпали из табакерок франузский табак и начинали нюхать русский, противопоставлял им "знатного русского боярина" (раз "боярин", то и Полине "разрешалось" почитать в деревне его афишки) – графа Растопчина, как залог будущих гражданских доблестей, – то Пушкин – *с жестокой иронией* говорит о тех "заступниках отечества", патриотизм которых "ограничивался злобными выходками противу Кузнецкого моста". "Простоватой" казалась Пушкину, всюду видящему "врагов" своих личных и общих, мягкая беззлобная манера загоскинского смеха ("умышленный недонос" – сокрытие факта, ведущего к "преступлению"?). Пушкинские "враги отечества" были для Загоскина нередко всего лишь "модниками", высмеянными Крыловым, Батюшковым, Давыдовым и другими смехачами-пересмешниками "доморощенного Бродвея". Пушкинцы чужеземного ума. Так, еще в 1825 году, в упомянутой полемике с А. А. Мухановым по поводу госпожи де Сталь, Пушкин сослался в "Московском Телеграфе" на "одну рукопись", из которой процитировал строки о "благородной чужеземке", которая "п е р в а я отдала полную справедливость русскому народу...". В суждениях Полины развернута была и сентенция письма Пушкина к Вяземскому от 27 мая 1826 года: "Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда – при англичанах дурачили Василия Львовича; перед madame de Stael заставляем Милорадовича отличаться в мазурке...". Отсюда "негодование героини, являющейся в данном случае, – как утверждает Б. Томашевский, – выразительницей собственных мнений Пушкина" (93:144).

Как литературные образы Пушкина, так и сама его вдохновительница мадам де Сталь – не оригинальны. Идеи Августа-Виль-

гельма Шлегеля, под сильным воздействием которых находилась писательница де Сталь, Пушкин мог воспринять в адаптированном ею виде, и они пришлись ему кстати в пору опытов по выработке самостоятельного суждения о жизни и искусстве. Следов влияния Шекспира, изучаемого поэтом в 1824–25 годах, не видно в человеческом материале "Рославлева" развернутой статье очеркового характера на "фельетонную" злобу дня. Здесь не чувствуется никакого "отказа" от предпочтения французской культуры ценностям других народов. Полина его покрикивает "государственником" и ведет себя "провокатором" со своими и подобострастно с чужими (симпатии наоборот).

Что-то сгодилось от другого источника. В "Адольфе" Бенжамена Констана разобраны сплетения человеческого сердца, дан восхитительный анализ всех чувств; столько истины в слабости героя, столько ума в наблюдениях, силы и чистоты в слоге. Как известно, современники Пушкина узнавали в героине "Адольфа" мадам де Сталь. Так, Вяземский – в предисловии к "Адольфу" на русском языке, в части "от переводчика" – пишет, что в автобиографической исповеди Констана видели "отпечаток связи автора со *славной женщиной...*". Эта характеристика де Сталь переходит в "Рославлева".

Но Пушкину, после "Арапа Петра Великого", где есть еще нечто от Констана (профессор Благой отметил ряд реминисценций из "Адольфа"), вдруг показалось "враньем" условность в изображении чувств. От "перцепций" (бессознательных восприятий) к "апперцепциям" (по Лейбницу, введшему этот термин, – осознанное восприятие). Теперь центр тяжести – герой в действии, герой действия. Видимо, от француза Мериме же – отказ от пространственных характеристик. "Рославлев" в схеме: "условность" – "вранье" и "разоблачение". Уже к концу 1820-х годов Пушкин, с одной стороны, совершенно враждебен карамзинской ориентации на стиль высшего общества, руководимого салонным вкусом дам, с чем и выступает в критической печати; с другой же (например, в "Рославлеве"), – обнаруживает, как выразился Белинский, странное упорство добровольно оставаться при идеях Карамзина (это видно и по описанию столичной гостиной Татьяны, и высказывается в "Рославлеве": "В прозе мы имеем только 'Историю Карамзина' "), что, однако, не мешает ему бороться против "карамзинской нежной читательницы" (в письме к Бестужеву Пушкин посмеялся 13 июня 1823 года над образом "нежных читательниц"), в этом смысле вполне совпадая с хулимым им литературным старовером адмиралом Шишковым, который основал в 1811 году для

борьбы с пагубно-европейским влиянием Карамзина "Беседу любителей русского слова". "Священной памяти" Карамзина, с глубоким пиэтетом, посвятил Пушкин своего "Бориса Годунова".

Пушкин, увлеченный со второй половины 1820-х годов "проблемой просторечия", приходит, по наблюдениям Юрия Тынянова, к "нагой простоте" – заметно упрощенному языку, благодаря исключению из обиходного лексикона затасканных и безмерно употребляемых чужих речений и замене их живыми разговорными формами. Занятый языковыми преобразованиями, Пушкин оставил опыты разработки "русской темы" преимущественно из героического и сказочного репертуара древней Руси. Но думать о "дамском языке" не перестал. "Он полагал (брат рассказчицы в "Рославлеве". – Е. В.), что с женщинами должно употреблять язык, приноровленный к слабости их понятий, и что важные предметы до нас не касаются...". В этих строках использована Пушкиным его же заметка, сделанная в 1830 году в той же тетради, в которой сохранилась и черновая редакция "Рославлева": "О дамах. Умная дама сказывала..." (68:733).

Ближайшим поводом к высказыванию о языке было первое обозрение Бестужева за 1823 год. Подхватывая последние слова обозревателя отечественной словесности, Пушкин писал: "Причинами, замедлившими ход нашей словесности, почитаются: во-первых, общее употребление французского языка и пренебрежение русского... У нас еще нет ни словесности, ни книг; все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке... Метафизического языка у нас вовсе не существует; проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных; и ленность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы уже давно готовы и всем известны". Все эти рассуждения, почти без изменений он включил в статью "О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова", и затем повторил их в "Рославлеве".

Важно, что простота идеального языка русской женщины (в качестве хрестоматийного примера берется обычно девичье письмо Татьяны к Онегину) отнюдь не блистала "неподражаемым русизмом", как считается, а все тем же "переводом с французского" ("Я должен буду, без сомненья, письмо Татьяны перевесть... Итак, писала по-французски"), как и "Рославлев". А ведь *язык Полины – ее мировоззрение; значит, и оно чужое.* Во всяком случае, чужое по отношению к Загоскину: и изображается "не так", и изображает "не то".

Тихая женская прелесть зачастую сильнее триединства "доблестей, подвигов, славы". До 10 февраля 1831 года, "до сих пор, – пишет Пушкин, – счастья мне не было". Хотел ли он видеть такой тип женственности в своей невесте? Брак с казавшейся "бездушной" красавицей Натальей Николаевной был одновременно и желанным (сватался неоднократно), и "горестным" ("горести не удивят меня") – фатальным. Тревожные предчувствия поэта раскрыты в прямой речи повествовательниицы "Отрывков": "Легко можно себе вообразить, что должна была чувствовать *шестнадцатилетняя* девушка (едва будущей жене Пушкина исполнилось 16 лет, в 1828 году, как ее стали вывозить в свет. – Е. В.), променяв антресоли и учителей на беспрерывные балы и визиты. Я предавалась вихрю веселий со всею живостью моих лет и еще не размышляла..."; "брат... из меня делал, что хотел...". Автобиографическое проступает: "я была другом несчастной", "я буду защитницею", "буду... много говорить о самой себе, потому что судьба моя долго была связана с участью бедной моей подруги". Имя условное – от другого, "оставляю ей это имя". Имя в данном случае не играет решающей роли. Не в нем дело. "В ней было много странного и еще более привлекательного. Я еще не понимала ее, а уже любила. *Нечувствительно* я стала смотреть ее глазами и думать ее мыслями". "Она окружена была поклонниками". Красотой Наталии Николаевны восторгался и Государь, кажется, лет с 14-ти ее приметивший. У ней было много поклонников, но не женихов – шла слава о ней как о "бездушной", а главное, как о бедной красавице. "С нею любезничали; но она скучала, и скука придавала ей вид гордости и холодности...". "Я торжествовала, когда мои сатирические замечания (откуда им взяться было, ведь она не знала еще жизни?) наводили улыбку на это правильное и скучающее лицо". Из приведенного ясно, какие чувства могли владеть Пушкиным за неделю до свадьбы – "будущности не в розах". "Искокетничалась" – постоянный упрек Пушкина жене. И тем сильнее в помыслах "внебальное" женское совершенствование.

Рассказчица "стала смотреть глазами" и "думать мыслями" заимствованными, а Наталия – и не подумала: оставалась неуправляемою красотою около пушкинской пороховой вспыльчивости ревнивой, что и являло собой трагедию со смертельным исходом. "Сатирические замечания" Пушкина по поводу пустого прожигания жизни могли только "наводить улыбку на это правильное" и "скучающее лицо". Молоденькой его супруге было потребно "выбеситься" (как и Наташе Ростовой в "Войне и мире"); "чувственное" было привычным, и оно, так сказать", "ножками", а

не головой набиралось ума-разума. Таким кажется "Рославлев" с интимной стороны.

В плане философском, пожалуй, Загоскин дает "душевность", а Пушкин – хоть и сомнительную, но "духовность". Эмоциональная полнота самовыражения и суховатая интеллектуализованная воля. Однако "книжный ум" – не гарант духовного (как "интеллигенция" и "образованщина" у Солженицына); без Бога он "слеп" и черств. "Глагол" захватывает дух и жжет сердца. "Пророк" Пушкина говорит о пробуждении в человеке именно д у х а, а не д у ш и, Душа более человечна, женственна, тогда как дух – может вознестись не к Богу, так к сатане (последний есть ведь п а д ш и й д у х). В "Рославлевых" дух и душа конфликтуют между собой. Дух, по идее, глубже души, но душа человечнее духа. Этическая сущность христианства в том, что высшее достоинство человека в его духе, а *не во внешних функциях* ("Вся слава дщери цареви внутрь" – слова 44-го пророческого Псалма о Пресвятой Богородице), "громко общественных". Бог поручил женщине родить Себя в человеке, и ей суждено приводить к Богу мужчин, которым вверены более "грубые" дела истории. И это ни в коей мере не должно умалять женской "доли". "Феминизм" – порождение воинственных женщин типа пушкинской Полины – был вызван, может быть, "девальвацией" мужчины (изображение Пушкиным н е м у ж е с т в е н н ы м светского общества). Но в "освободительном" порыве легко переступить границы природы женской и воли Божьей. Тогда "честнейший херувим и славнейший без сравнения Серафим" – сущность русской женской духовности – возвышается искусственно над своим полом (в частности – поступками разновидности социальной "пропаганды и агитации"). Христиане верят, что женщина, только возвышая свою природу н е к м у ж с к о м у, а н е б е с н о м у уровню, осуществляет себя.

"Козыряния" именами царицы Савской, социально равной Соломону, или Клеопатры, равной Антонию, – еще ничего не доказывают: на поле соревнования честолюбия, азарта и бесовской напористости "подпрыгивание" (чтобы стать вровень с мужчиной или выше его) более всего и должно, по христианской этике, унижать женщину. Женщины, кричащие о своем "равноправии", обычно не понимают высшей стороны жизни, не "в том" ищут своего назначения (общественной деятельности Лев Толстой "разрешал" отдаться только тем женщинам, которые сполна отрожали уже свое). Речь идет, конечно же, не о навязывании женщине XX века "тоталитарного Домостроя" в качестве образца для подражания, но и не о другой крайности – когда женщина печатно протестует против "унизительного" положения традиционной позы любов-

ного акта! Набираясь "бестолковой мужественности" (которая временами покидает мужской пол, почему Ницше, возможно, и считает войну "гигиеной человечества"), "прогрессивные" (обычно мало или "уродливо" счастливые) женщины зачастую теряют и метафизическое уважение мужчин ко внешней их "слабости" (хоть иллюзия, да необходима) – духовному первенству, более ценному и антропологически и культурно. Умная женщина, хотелось бы верить, далека от мужеподобного тщеславия. Диалектика ее сознания полна инстинктивного чувства женскости, как особого дара Божия и высокоценимого преимущества своего рода. Дамам "Рославлевых" – "буре" – час, покою – вечность".

Что касается самого Пушкина-"бунтаря", то не подошел бы к характеристике его ответ Макара Ивановича подростку (одноименное произведение Достоевского): "Нет, ты не безбожник: ты в е с е л ы й"? Кстати говоря, у Достоевского мы также встречаем: "...даже самый подленький француз имеет благородный вид", и тем кружит голову "русским дурам", "не умеющим различать позолоты от золота". Не на подобный ли "обман", разбивший жизнь, натолкнулись "тоже" Полина в "Игроке" и Аглая в "Идиоте"? Между тем, заключает Достоевский, женщины всего менее должны бы увлекаться, потому что там "исключительно чувственный, просто магометанский, варварский взгляд на женщин...". Но ведь и в самом Пушкине "африканские страсти".

Не останавливаясь дольше положенного на эпитете "подленький", отметим другое: поздний Достоевский в современном ему искусстве не находит нравственного центра и поэтому желает, чтобы художественная правда, чуждая тенденциозного искажения действительности, не перешла бы в нравственное безразличие. Однако специфика искусства – не фотокопия жизни. Посему искусству не следует быть "вполне отрешенным" от жизни (убогое ничевочество; нечто удивительное, экзотическое); ведь не могло же бы оно в 1812 году, например, не откликнуться на все пережитое русским народом. Но художественный *отклик* воспринимается как *окрик,* если словесный смысл не согреет теплом нравственного сопереживания.

Дух, в своем снижении, утрачивая нравственные высоты, сатанел и мог стать даже остервенелым идеологическим мракобесием. "Дубинка Петра", о которой вздыхают в одном месте "Рославлева" Загоскина, актуализируется: "Жаль дубинки Петра Великого – взять бы ее хоть на недельку из кунсткамеры, да выбить дурь из дураков и дур", для которых "царство небесное Париж". Но это была слабая надежда остановить начавшееся во времена Карамзина гибельное для России безумие, наступившее с созданием пред-

посылок для утраты веры или отказа "от всяких верований". *"Дубинку Петра"* предлагается пустить в ход против Петра творенья. Вот что в этой связи выговаривает Александр Солженицын "прорубившему окно в Европу": "А сколько всяких окаянных интеллигентов, неприкаянных студентов, разных чудаков, правдоискателей и юродивых, от которых еще Петр I тщился очистить Русь и которые всегда мешают стройному строгому режиму?" "Дубинка" Петра и "дубина народной войны" (Льва Толстого). Какая пропасть меж этими "деревяшками". Петр – "первый большевик", и имени его столица России. Парадоксы истории?

Тему "девушки за иностранцев" (1946–47 годы) – то есть, давших иноземцам ухаживать за собой – вернул литературе русской Солженицын. "Клеймили девушек статьями 7-35 (социально опасные)" в Архипелаге ГУЛАГ. О, "великая, могучая, обильная, разветвленная, разнообразная, всеподметающая Пятьдесят Восьмая, – иронизирует Александр Исаевич, перефразируя поэта Некрасова. – Воистину, нет такого проступка, помысла, действия или бездействия под небесами, которые не могли бы быть покараны дланью Пятьдесят Восьмой статьи... Третий пункт (ее) – 'способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с СССР в состоянии войны...'. Этот пункт давал возможность осудить... гражданку, повысившую боевой дух оккупанта тем, что танцевала с ним и провела ночь... *СВПШ* – с в я з и, в е д у щ и е (!) к п о д о з р е н и ю в ш п и о н а ж е...".

Это не какой-то там "детский лепет"-укор ("стыд и срам!"), а осуществление утонченных пыток по усовершенствованной "прогрессом" методе инквизиции. Пушкин в "Рославлеве" наложил тень на "голубые канты" (вспомним у Лермонтова: "А вы, мундиры голубые"; у Толстого – в "Смерти Ивана Ильича"): "Может быть, заметили мне, m-me de Stael была не что иное, как шпион Наполеонов, а княжна** доставляла ей нужные сведения"; "очень, очень может статься, возразила мне востроносая графиня Б.: Наполеон был такая бестия, а m-me de Stael – п р е т о н к а я ш т у к а"! Но разница между "тогда" и "теперь" превеликая: писательница де Сталь – "претонкая штука" убежала от Наполеона под покровительство русского Императора. Полину у к о р я л и в приверженности ко врагу отечества, а что д е л а л и с советскими "социально-опасными"?! Кстати, русская женщина в каре за политику не преуспела: кажется, первый женский политический процесс в России был в 1855 году (Возницкого с дочерью – за распространение в Тамбовской губернии прокламаций о Польше). Если Полины рассматриваемые враждебны отечеству, то загоскинскую – су-

дили бы за "прямую измену родине", а пушкинскую – за совокупность "предательских" действий, перечисленных именуемой "рассказчицей", по совместительству являющейся в то же время и "свидетельницей обвинения". Пресекли бы жизни их вольные при царе – "вышкой", смертной казнью или бы 10–20-ю годами лагерей отбили начисто охоту "острить" в подконвойном мире разговорчиками и деяниями. Не повинуешься как труп – получай: "Вряд ли *риторические примеры,* рассчитанные на то, чтобы *вызвать дамские рыдания,* – пригвождает прокурор РСФСР В. М. Блинов, – могут повлиять у нас на вынесение приговора" (газета "Советская Россия" от 7 января 1968 года). "Москва слезам не верит". За свободу в чувствах есть расплата. Такова трагедия свободы – "осознанной необходимости", ее гносеология, онтология и патология.

Подведу некоторые итоги. "Собранием пестрых глав" назвал сам Пушкин свой роман "Евгений Онегин", который писал, кажется, не "7 лет 4 месяца и 17 дней", как утверждал, а хороших лет девять. Первые шесть глав его написаны без какой-либо связи с "Рославлевым" Загоскина. В седьмой и восьмой – не исключено – в них могло отразиться у ж е знакомство поэта с романом. Что касается Загоскина, то он мог употребить в своем "Рославлеве" материал семи известных тогда глав "Онегина".

Перечислю бросающиеся в глаза элементы из "Онегина", в разной мере отразившиеся в загоскинском "Рославлеве" и (или) являющиеся "подвижным фондом", "кочующим материалом" для пушкинского одноименного творения под странноватым названием "Отрывка из неизданных записок дамы". Приведу цитатные выписки по порядку номеров глав "Онегина", сопровождая некоторые выделенные места краткими замечаниями.

1) "Рукой пристрастной" написано "собрание пестрых глав": "полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных" (вступление).

В сформулированной здесь Пушкиным "сборной" установке и избираемой манере повествования не намечено "привычной" едкой сатиры. Декларируемая малосвойственная поэту мягкая тональность подачи материала и художественной окраски – скорее, "загоскинская" палитра, из чего можно заключить о намерении писать в чужом стилевом ключе, "под" антагониста.

2) "Винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо б меньше мог
Иноплеменными словами".

А "карамзинский язык", которым пленилась Россия? Выдумал или обрусил столько слов: влияние, обстоятельство, развитие, утонченный, переворот, сосредоточить, трогательно, занимательно, промышленность, будущность, носильщик, оттенок, потребность, усовершенствовать, сцена, эпоха, гармония, катастрофа, процесс, серьезный, моральный...

Язык загоскинского "Рославлева" не нуждается в "покаянии", ибо являет собой самобытные русские речения (пусть чаще сыроватые, чем в их литературной адаптации); когда же в его интерпретации даже в салоне аристократическом заговорили простолюдно – Жуковскому показалось это уж "слишком", "просчетом". Оба сравниваемых писателя против засорения русского языка заимствованными излишествами. Но рассуждения Пушкина на этот счет носят умозрительный характер, когда у Загоскина у ж е живые народные разговоры. У Пушкина язык "московских просвирен" (примечания к "Онегину"), у Загоскина, по мнению Аполлона Григорьева, – "подслушанный у дворни". Для Загоскина судьба языка неразрывно связана с судьбой страны: по мере вытеснения на Руси духа "чужебесия", которое нейтрализуется самим произрастанием самобытных элементов русской культуры, преодолевается и болевая привязка к готовым иностранным речениям. Язык обусловливает рост национального самосознания и является его продуктом, следствием. Важно подчеркнуть, что поэт Осип Мандельштам не включил имя Пушкина в ряд первоборцов за раскрепощение вольного духа русского слова; вот "пахари" глубинных слоев языковой целины, освободителей национально-первозданного звучания от плена и коррозии, наноса времен и обстоятельств: Тредиаковский, Ломоносов, Батюшков, Языков, Хлебников, Пастернак. Это – основные вехи в деле очищения – обмирщения – секуляризации русского языка.

3) "Летают ножки милых дам; / По их пленительным следам / Летают пламенные взоры". "Люблю их ножки; только вряд / Найдете вы в России целой / Три пары стройных женских ног". "Ах, ножки, ножки! где вы ныне? / ...Давно ль для вас я забывал / И жажду славы и похвал, / И край отцов, и заточенье?". "Ножка Терпсихоры" "Они (ножки) не стоят ни страстей, / Ни песен, ими вдохновенных". "Слова и взор волшебниц сих / Обманчивы... как ножки их". "Ни женских ножек, ни голов..." (часть 1-я, 28–35).

Умопомрачительное множество б о с о н о ж е к вместилось в одной главе "Онегина"! И "ножка" лягает русское, "антологически дефектное", "кривоножие": Русь обойдешь – три пары стройных ножек не найдешь! И загоскинский Зарецкий отдал дань моде – погонялся за ножками, поповесничал, да и буде; головы не поте-

рял, "зрячим" остался; только для героя национальной устремленности "ножка" позади "глаз" ("Прелесть!.. Что за глаза!.. А ножка, ножка!.."), а у пушкинского "ничевоки" — впереди родины, место которой, кстати, в поэтическом сознании автора третьестепенное ("Ах, ножки... для вас я забывал и жажду славы и похвал, и *край отцов...*"). В "Онегине", уточним, разочарованность "неверными ножками" и предание их "анафеме", а не вообще отказ от видно стимулирующей больше телесности, "танцующей плоти". Не злоупотребление ли ими и составляет главный источник разочарования Онегина? Но осуществление себя в иных плоскостях бытия — труднопредставимая затея. То, что у Загоскина — проказы беспечной юности, атрибут "веселья" русского характера, форма проявления удали молодецкой, — у Пушкина — надолго и всерьез. В первом случае это добрачные приключения холостяка (Рославлев чувствует себя семейным человеком, и потому не одобряет уличных приключений друга), сохраняющего главные силы для предстоящих боевых испытаний, в которых не трусит, а лихачит, бравируя смертью. Любителю острых ощущений обидно мало утешительной радости "ножек" — "африканские страсти" не менее двадцати раз ставили на карту дуэлями жизнь Пушкина.

4) "И устарела старина, / И старым бредит новизна" (часть 1-я, гл. 44). Новое — это вспомнившееся давно забытое старое. У Загоскина отражена вся Русь, у Пушкина — аристократы Москвы. У первого — роман, у второго — набросок, "критика под формою неполного рассказа". Оба писателя — за умную старину, как естественное гармоническое равновесие "нового" и "старого", но вкладываемый ими смысл различен: Пушкин больше склонен к "модерну" как таковому, а Загоскин приемлет только такую "новизну", которая не угрожает ломкой устоев традиционно русских, но и обогащает коренные основы векового уклада национальной жизни. Загоскин — не "апологет" старины, а сторонник просвещенного христианства; позиция его близка славянофильской, как писателя Василия Шукшина — "деревенщикам".

5) "Я кончил первую главу... *противоречий очень много,* но их исправить не хочу". А мог ли бы поэт, "раздвоенно" живущий, привести противоречия к единству?!

6) Онегина, заменившего в своей вотчине "ярем барщины старинной" на "оброк легкий", соседи-помещики, "увидя в этом страшный вред", "в голос все решили так, что он опаснейший чудак" (ч. 2, гл. 4). "Полурусским соседом" они называют и Ленского (ч. 2, гл. 12). И у Загоскина есть "образчики некоторых закоренелых невежд прошедшего поколения", правда, не более как "забав-

ные своим невежеством", люди безусловно "добрые, честные" (майор Ильменьев); мягкая ирония по отношению к этим "большим детям".

Любопытно, что "несносный", или "квасной", патриотизм не считается у Загоскина типично русской чертой характера. Так, Рославлев для Лидиной и Ижорского не совсем русский: для первой – за "несносный патриотизм" ("одно мне только в нем не нравится: этот несносный патриотизм; *и не странно ли видеть, что человек образованный сходит с ума от всего русского!"),* для которого – за какой-то "не наш" дух героя ("...Да и не совсем русский..., – подхватил Ижорский, – ...порядком объиноземились... Я ему сказал, что у меня без мало четыреста душ дворовых, так он ахнул... Да на что вам такая орава?..").

7) "Ко благу чистая любовь / И славы сладкое мученье... / Он в песнях гордо сохранил / Всегда возвышенные чувства, / Порывы девственной мечты / И прелесть важной простоты... / Он пел любовь, любви послушный" (ч. 2, гл. 9, 10). И Рославлев во многом такой, только вряд ли "любви послушный": на войну идет "от невесты", и не за славой, а по высокому сознанию гражданского долга.

8) Сущность деревенских бесед: "В пустыне... / Бежал он их беседы шумной. / Их разговор благоразумный... / Конечно, не блистал ни чувством, / Ни поэтическим огнем, / Ни остротою, ни умом, / Ни общежития искусством; */ Но разговор их милых жен / Гораздо меньше был умен..."* (ч. 2, гл. 11).

Загоскин также не восхищается ограниченностью содержания бесед в салоне княгини Радугиной, но не "гневно" обличает, а сострадательно журит заблуждающихся: "Бедная Радугина в простоте души своей была уверена, что высочайшая степень просвещения... – заслужить название обезьян Европы... Вслух называли ее Кориною (в первой главе "Онегина" Пушкин выступает в защиту автора "Дельфины" и "Корины" – мадам де Сталь. – Е. В.), потому что она писала иногда французские стишки... В сем доме разыгрывали презабавные пародии европейского просвещения...". Обезьянничание недостойно русских.

Что касается распространенного мнения, что женщины выше мужчин, то в образованных сословиях тех лет так и было, "Женщины несравненно выше своих мужей, – говорит А. И. Герцен в "Сороке-воровке". – Дело очень понятное. Мужчина у нас не просто мужчина, а военный или статский; он с двадцати лет не принадлежит себе, он занят делом: военный – учениями, статский – протоколами, выписками, а жены в это время, если не ударятся исключительно в соленье и варенье, читают французские романы". Старая логика вещей: змей-Ева-Адам (французская "зараза"-жен-

щина-мужчина).

9) Характеристика Ольги типичная, довольно распространенная: "Все в Ольге... но любой роман / Возьмете и найдете верно / Ее портрет: он очень мил, / Я прежде сам его любил, / Но надоел он мне безмерно..." (ч. 2, гл. 21–3).

И портрет Татьяны: "Ни красотой сестры своей, / Нн свежестью ее румяной / Ни привлекла б она очей. / Дика, печальна, молчалива... / Сидела молча у окна / ...Задумчивость ее подруга / От самых колыбельных дней" (ч. 2, гл. 24–26). При всем сходстве, загоскинская Полина "не вообще" задумчива, а по конкретной причине – любит другого.

10) Мать Татьяны: "В то время был еще жених / Ее супруг, но по неволе; Она вздыхала о другом, / Который сердцем и умом / Ей нравился гораздо боле: / Сей грандисон был славный франт, / Игрок и гвардии сержант... / ...Но... / Привычка свыше нам дана: / Замена счастию она. / Привычка усладила горе, / Не отразимое ничем... / Бывало, писывала кровью / Она в альбомы нежных дев... / Они хранили в жизни мирной / Привычки милой старины..." (ч. 2, гл. 30–35).

При наличии жениха вздыхают о другом и Полины. Но для них "привычка" не могла "заменить счастье". Противопоставление "привычки" и "счастья" – это судьба Татьяны ("несчастливой" она кажется многим); но русский женский характер может быть не менее счастливым и с мужчиной-страдальцем.

11) Диалог Онегина и Ленского, спешащего на свидание с Ольгой, "повторяется" в беседе друзей Рославлева и Зарецкого. "Ну что ж? ты едешь: очень жаль, – говорит Онегин Ленскому. – Неужто ты влюблен в меньшую? / – А что? – *Я выбрал бы другую,* / Когда б я был, как ты, поэт. / В чертах у Ольги жизни нет. / Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне: / Кругла, красна лицом она, / Как эта глупая луна / На этом глупом небосклоне" (ч. 3).

У Татьяны, в отличие от Полины, любовь неопределенно-личная, не персонифицированная: "Пора пришла, она влюбилась... / Душа ждала кого-нибудь" (ч. 3, гл. 7). Что касается тезиса "в чертах у Ольги жизни нет", то здесь или сказано сгоряча раздраженным скептиком-"недоумком", или следствие переориентации пушкинских симпатий: от "уездных барышень" к великосветским дамам.

12) "Свой слог на важный лад настроя, / Бывало пламенный творец / Являл нам своего героя / Как совершенства образец. / Он одарял предмет любимый, / Всегда неправедно гонимый, / Душой чувствительной, умом / И привлекательным лицом. / Питая жар чистейшей страсти, / Всегда восторженный герой / Готов был жертвовать собой, / И при конце последней части / Всегда наказан был по-

рок, / Добру достойный был венок... / А ныне все умы в тумане, / Мораль на нас наводит сон, / Порок любезен, и в романе / И там уж торжествует он..." (ч. 3, гл. 11–12).

Порок "любезен" в пушкинском "Рославлеве"; мораль же отнюдь не "наводит сон" у Загоскина. "Несчастная" и "порочная" – разные девы.

13) "Татьяна, милая Татьяна!.. / Ты в руки модного *тирана* / Уж отдала судьбу свою. / Погибнешь, милая; но прежде / Ты в ослепительной надежде / Блаженство темное зовешь, / Ты негу жизни узнаешь, / Ты пьешь волшебный яд желаний, / Тебя преследуют мечты: / Везде воображаешь ты / Приюты счастливых свиданий; / Везде, везде перед тобой / Твой искуситель роковой..." (ч. 3, гл. 15). Это вполне соответствует характеристике Полины и Сеникура.

14) "Я верен буду старине"– постоянный рефрен в "Евгении Онегине"; непривязанная к материалу голословная завязка. А Загоскин и без деклараций верен духу устойчивой старины – противовесу чужеземно-модному.

15) "Она по-русски плохо знала, / Журналов наших не читала... / Итак, *писала по-французски... / Неполный, слабый перевод,* / С живой картины список бледный..." (ч. 3, гл. 26, 27, 31 – сказано о письме Татьяны к Евгению).

Письмо Татьяны – "перевод с французского", как и записки от лица дамы в пушкинском же "Рославлеве" (загоскинское же повествование основывается на живом факте, а не отраженная восприятием постороннего информация).

16) "Мой бедный Ленский, сердцем он / Для оной жизни был рожден .. / Он был любим... по крайней мере / Так думал он, и был счастлив" (ч. 4, гл. 50, 51). Таким представляется Рославлев, спешащий к невесте.

17) "Зачем вечор так рано скрылись?", – был первый Оленькин вопрос. И у Ленского, почувствовавшего сразу всю наивную детскость резвой и "неизменнической" души Ольги Лариной, пропала охота стреляться (ср. с "Выстрелом" описанную в 6-й главе "Онегина" дуэльную ситуацию) с позлившим его Онегиным: "Исчезла ревность и досада / Пред этой ясностию взгляда, / Пред этой нежной простотой, / Пред этой *резвою душой...*" (ч. 6, гл. 14).

Именно "резвая душа" у загоскинской Оленьки.

18) "А может быть и то: поэта / Обыкновенный ждал удел. / Прошли бы юношества лета: / В нем пыл души бы охладел. / Во многом он бы изменился, / Расстался б с музами, женился, / В деревне *счастлив и рогат* / Носил бы стеганый халат; / Узнал бы жизнь на самом деле" (ч. 6, гл. 38–39).

Все, вроде, и верно, да пошлинка попутала, впуталась в кон-

текст сопутствующей "рогатостью". Обыкновенная жизнь – не "удел" для Загоскина, а благословенная Богом судьба человека. Селянин может быть грубым, но не пошлым, за редким исключением.

19) "Мой бедный Ленский! изнывая, / Не долго плакала она. / Увы! невеста молодая / Своей печали неверна. / Другой увлек ее вниманье, / Другой успел ее страданье / Любовной лестью усыпить, / Улан умел ее пленить, / Улан любим ее душою... / И вот уж с ним пред алтарем / Она стыдливо под венцом / Стоит с поникшей головою, / С огнем в потупленных очах, / С улыбкой легкой на устах..." (ч. 7, гл. 8–10). "Улан, своей *невольник* доли, / Был должен ехать с нею в полк... / Но Таня плакать не могла; / Лишь смертной бледностью покрылось / Ее печальное лицо" (ч. 7, гл. 12). "Ее (Татьяны. – Е. В.) наперсница родная / Судьбою вдаль занесена, / С ней навсегда разлучена... / И облегченья не находит / Она подавленным слезам, / И сердце рвется пополам" (ч. 7, гл. 13). "И в одиночестве жестоком / Сильнее страсть ее горит, / И об Онегине далеком / Ей сердце громче говорит. / Она его не будет видеть; / *Она должна в нем ненавидеть / Убийцу брата своего...* (ч. 7, гл. 14).

Не Сеникур ли Загоскина скрывается под безымянным уланом?! Сцена бракосочетания неверной невесты – однотипна у обоих писателей. Именно так, как здесь Татьяна, Оленька могла бы реагировать на брак ее сестры с "невольником доли": "она должна в нем ненавидеть убийцу брата своего" (брат в собирательном значении – ведь Татьяне Ленский не был кровным братом).

20) "Нет, не пошла Москва моя / К нему с повинной головою. / Не праздник, не приемный дар, / Она готовила пожар / Нетерпеливому герою" (ч. 7, гл. 37). Это место общее в обоих "Рославлевых".

21) "...всех в гостиной занимает / Такой бессвязный, пошлый вздор; / Все в них так бледно, равнодушно; / Они клевещут даже скучно; / В бесплодной сухости речей, / Расспросов, сплетен и вестей / Не вспыхнет мысли в целы сутки, / Хоть невзначай, хоть наобум; / Не улыбнется тонкий ум, / Не дрогнет сердце, хоть для шутки. / И даже глупости смешной / В тебе не встретишь, свет пустой" (ч. 7, гл. 48). "Тут был однако цвет столицы, / И знать, и моды образцы, / Везде встречаемые лица, / Необходимые глупцы; / Тут были дамы пожилые..." (ч. 8, гл. 24). "И путешественник залетный, / Перекрахмаленный нахал, / В гостях улыбку возбуждал / Своей осанкою заботной, / И молча обмененный взор / Ему был общий приговор" (ч. 8, гл. 26). "Несносно видеть пред собою / Одних обедов длинный ряд, / Глядеть на жизнь, как на обряд. / И вслед за чинною

толпою идти, не разделяя с ней / Ни общих мнений, ни страстей" (ч. 8, гл. 11).

Мотивация осуждения Пушкиным высшего света постоянна.

22) "Предметом став суждений шумных" (ч. 8, гл. 12). "Прочел из наших кой-кого, / Не отвергая ничего: / И альманахи, и журналы, / Где поученья нам твердят... / Он меж печатными строками / Читал духовными глазами / Другие строки. В них-то он / Был совершенно углублен. / То были... ни с чем не связанные сны, / Угрозы, толки, предсказанья, / Иль длинной сказки вздор живой, / Иль письма девы молодой..." (ч. 8, гл. 35–36). "Муж в сраженьях изувечен" (ч. 8, гл. 49) (ср. у Загоскина: "Он явился... покрытый ранами"). "Сейчас отдать я рада... за наше бедное жилище" (ч. 8, гл. 46). "А счастье было так возможно, / Так близко!.. Но судьба моя / Уж решена... / ...к чему лукавить?/ ... Но я другому отдана; / Я буду век ему верна" (ч. 8, гл. 47). "А та, с которой образован / Татьяны милый идеал... / О много, много рок отъял!" (ч. 8).

Не о загоскинской ли Полине идет речь?! Не связано ли письмо Онегина к Татьяне, написанное Пушкиным в Царском Селе 5 октября 1831 года (после выхода в свет загоскинского "Рославлева"), также – с письмом Полины?! Что скрывается под "взором живым" "длинной сказки", "иль писем девы молодой", которая "сейчас отдать бы рада" все "за *наше* бедное жилище"?! Не "Рославлев" ли? Не есть ли здесь транформация письма Полины к Рославлеву? "О люди! все похожи вы / На прародительницу Эву: / Что вам дано, то не влечет, / Вас непрестанно змий зовет / К себе, к таинственному древу; / Запретный плод вам подавай, / А без того вам рай не рай" (ч. 8, гл. 27). Как это похоже на судьбу Полины загоскинской! "Я думал, – пишет Онегин Татьяне, – Боже мой! Как я ошибся, как наказан... Все решено: я... предаюсь моей судьбе" (ч. 8, гл. 32). Функциональная сюжетная связь писем довольно заметна.

23) "Гроза двенадцатого года / Настала – кто тут нам помог? / Остервенение народа, / Барклай, зима иль русский Бог? / Но Бог помог – стал ропот ниже, / И скоро силою вещей / Мы очутилися в Париже, / А русский царь главой царей. / ... О русский глупый наш народ..." (ч. 10).

"Глупый наш народ" – кочевое словосочетание. Так ли уж "исторически беспомощен" Загоскин, если и Пушкин теряется в догадках по поводу причин победы России над Наполеоном, определяя их набором известных субъективных факторов, в числе которых и "остервенение глупого народа".

Есть еще кое-какие мелочи, имеющие смысл быть сравниваемыми. Так, в ранней редакции (гл. 2, строфы 21 и след.) словосоче-

тание "Ни дура английской породы" Пушкин пробовал переделать, применив этот характеризующий штрих к Татьяне. Прямо скажем, не "из пены" , как Афродита, возник пленительный пушкинский образ!

В беловой рукописи даны два варианта окончания строфы (3 гл.), характеризующей Ольгу: 1) "В чертах у Ольги *мысли нет, / Как в Рафаэлевой мадонне,* / Румянец да невинный взор / Мне надоели с давних пор, / – Всяк молится своей иконе, – /Владимир сухо отвечал, / И наш Онегин замолчал...". 2) "В чертах у Ольги мысли нет, / *Как у Рафаэля в Мадонне.* / Поверь – невинность это вздор, / А приторной Памелы взор / Мне надоел и в Ричардсоне". К этой строфе в рукописи есть примечание: "Как Светлана" (Жуковского).

Было задумано, что Онегин, обращаясь к Татьяне, скажет ей: "Но вообще, клянусь пред вами, / Что женщины не знают сами, / Зачем они того берут..." (гл. 4).

Портрет Ольги сравнивается с Мадонной Рафаэля впервые, пожалуй, в истории серьезного искусства (не говорю о модернистах, дадаистах) не в пользу дамы, так как для Онегина в невинном взоре целомудренности "нет мысли", а только "вздор".

Указанные примеры типологической родственности, или, по крайней мере, органической совместимости частных моментов сравниваемых произведений, позволяют предположить перекрестное, взаимное заимствование, вольное или невольное, "сознательное" или "случайное", но заметно присутствующее или еле ощутимое.

Теперь взглянем на некоторые места "Рославлева" Загоскина.

"Интрига моего романа основана на истинном происшествии; теперь оно забыто; но я помню еще время, когда оно было предметом общих разговоров, и когда проклятия оскорбленных россиян гремели над головою несчастной, которую я назвал Полиною в моем романе", – пишет Загоскин.

Как уже отмечено, и Пушкин избрал именно эту же отправную точку для своего одноименного "Отрывка".

"Нет, – говорит Рославлев Зарецкому. – Я езжу только в русский театр". На что друг возражает: "Да бишь, виноват! Ты любишь чувствительные драмы".

Русский начинающийся театр ассоциируется с чувствительными драмами, что вовсе не смущает Рославлева, даже напротив.

"А что... Конечно! ты молодая вдова, русская барыня, он француз, любезен, человек не старый; в самом деле, это очень будет прилично. Ступай, матушка, ступай!" (замуж). Это совет князя Радугина сестре, к чему, совсем не исключено, прислушается пушкинская Полина да и реализует его.

Здесь же приведена история о двух сцепившихся встречных каретах, символизирующих *французскую строптивость и русскую непреклонность,* когда в результате бескомпромиссного решения ("французы никогда не двигаются назад!" – "И русские также!" – "Пошел!") у иностранного посланника "одного колеса как не бывало" (мотив о "колесе" ср. с ситуацией в "Мертвых душах" Гоголя и "Селе Степанчикове" Достоевского).

"А когда компания кончится и мы опять поладим с французами, так... качнем в Париж!.. Что ни говори, а ведь у нас, право, скучно!" – говорит Зарецкий. С ним не соглашается Рославлев: "Я этого не вижу... Нет, мой друг! *Если ты узнаешь скуку, то не расстанешься с нею и в Париже.* Когда мы кружимся в вечном чаду, живем без всякой цели; когда чувствуем в душе нашей какую-то несносную пустоту..." (40).

Рославлев согласен, что война не должна отравлять отношений между нациями, что допустима только вспышка праведного гнева к захватчикам, не более того. Поучительная "концепция врага". Важна и другая мысль: "скука" не побеждается Парижем, коли червоточина отравила душу и сознание; от себя не убежишь.

Сестры Лидины характеризуются как "два совершенства", из которых одно "свело с ума" Рославлева, а на другом он женится. Образы сестер Полины и Ольги внешне сопоставляются, а внутренне отталкиваются друг от друга. Оля понравилась Рославлеву с первого взгляда, но "красота души" воплощенного в Полине "ангела", "ее живое цветущее воображение" покорили сердце юноши навсегда. Что ж, донкихотствующие рыцари влюблялись нередко в воображаемую даму сердца. В нашем случае присутствуют лишь "касание руки" да ласковое обращение Полины к герою со словами "о, мой друг!". Романтизм "в неземных одеждах".

Предстоящая жизнь Полины как бы предсказывается прочитанным романом "Матильда или Крестовые походы": "Когда мы дошли, – говорит Рославлев, – до того места, где... враг отечества Матильды... умирает на руках ее – добрая Оленька, обливаясь слезами, сказала: 'Бедняжка! Зачем она полюбила этого турка! Ведь он не мог быть ее мужем!'. Но Полина не плакала; – нет, на лице ее сияла радость! Казалось, она завидовала жребию Матильды и разделяла вместе с ней эту *злосчастную, бескорыстную любовь,* в которой не было ничего земного..." (43).

Оленька, можно догадаться по проявлению ее чувств к Рославлеву, с первого взгляда влюблена в него, а тот – в ее сестру. Робость влюбленного перед любимой толкает его на объяснение с Ольгой. Вот как это происходило: "Не смея сам предложить мою руку, – говорит Рославлев, имея в виду Полину, – решился... открыться во

всем Оленьке; я сказал ей, что все мое счастье зависит от нее (так ведь и будет на самом деле. – Е. В.)... Она испугалась, побдеднела (как если бы ей самой сделали брачное предложение. – Е. В.); но когда услышала, что я влюблен в Полину, то лицо ее покрылось живым румянцем, глаза заблистали радостью. – Боже мой! Боже мой! – вскричала она; – вы хотите жениться на Полине? Как я рада!.. *О! теперь я никогда не выйду замуж!* ... Добрая Оленька плакала и улыбалась в одно время. Слезы градом катились из глаз ее; ... Оленька приметным образом старалась не оставаться со мной наедине" (43–44).

Ольга, жертвуя своим счастьем, просит свою сестру ускорить свадьбу с Рославлевым. Какая женская самоотверженность во имя счастья ближнего! Все хотели бы видеть женой Рославлева добрую Оленьку. Так, Сурский "часто покачивал головою и называл ее (Полину – Е. В.) мечтательницею"; Зарецкий – отнюдь не романтик, прямо не скрывает своего разочарования выбором Рославлева: "Тьфу, черт возьми! – прервал Зарецкий, – так этот-то бред называется любовью? Ну, подлинно, есть от чего сойти с ума! Мой друг! Да как же прикажешь ей тебя называть? Мусью Рославлев, что ль?.. *Я больше бы порадовался, если б ты женился на Оленьке.* – Почему же, мой друг? – ...*Твоя Полина слишком... небесна;* а я слыхал, что эти неземные девушки редко делают своих мужей счастливыми. Мы все люди, как люди, а им подавай идеал. ...Но теперь ты у ног ее, ...и твой образ облекает в одежду неземную; а как потом ты облачишься сам в халат (ср. со "стеганым халатом" в "Евгении Онегине". – Е. В.), ...Муж – плохой идеал" (44–45). Зарецкий, с его, как сам выразился, "румяной и веселой рожей" противопоставляется "бледному, задумчивому" Рославлеву ("в глазах твоих есть также что-то туманное, неземное"): "веселый реализм" – "страдательному бреду", а может быть, – "русское" – "нерусскому".

Невидимый роман Рославлева с Ольгой продолжается: он спас ее, утопающую. Сама судьба позаботилась о том, чтобы свадьба Полины с Рославлевым не осуществилась; зато, если бы он выехал часом позже из Петербурга, то, вероятно, ее не было бы на свете: "Кто больше всех пострадал от этого несчастного случая? Ведь это он! Свадьба была назначена на прошлой неделе; а бедняжка Владимир только сегодня в первый раз поговорит на свободе со своей невестою" (84–86). "Мне иногда кажется, – говорит Полина сестре, – что ты его любишь больше, чем я. Ты всегда говоришь о нем с таким восторгом! ... Уж не влюблена ли ты в него? – смотри! Оленька поглядела пристально на сестру свою; губы ее шевелились; казалось, она хотела улыбнуться; но вдруг вся бледность

исчезла с лица ее, щеки запылали, и она, схватив с необыкновенной живостью руку Полины, сказала: – Да, я люблю его как... А тебя почти ненавижу за то, что ты *забавляешься его отчаянием...* его досадою и огорчением... Употреблять во зло власть свою... Ты своенравна, прихотлива..." (92–93).

Не будучи уверенной в своих чувствах к жениху, Полина медлит с ответом ему, боясь в случае их свадьбы кары за забвение образа любимого, хранимого на груди в золотой оправе-медальоне: "Но если его образ никогда не изгладится из моей памяти: если он, как неумолимая судьба, станет между мной и моим мужем?.. О! тогда, – заклинает сестра Ольгу, – молись вместе со мной, молись, чтоб я скорей переселилась туда, где сердце умеет любить и где *любовь не может быть преступлением!*" (94–95).

С войной откладывается свадьба. Загоскин, при всем его горячем патриотизме, не чурается пацифистских настроений: "Война! ...Ах! когда люди станут думать, что они все братья, что слава, честь, лавры, все эти пустые слова не стоят и одной капли человеческой крови..." (115–116). (Ср. с "плачем ребенка" у Достоевского). *"И Бог велит безоружного врага миловать, а особливо, когда он болен"* (165). Вот и "помиловали" Сеникура по-Божески, с помощью Полины. Она сделала свое дело и покидает сцену-жизнь. Полина, уже как привидение, доосвещается через письмо-объяснение своего поступка и через бредовые видения раненого Рославлева. Так Оленька естественно вступает в свои "права", отныне безраздельно и пожизненно "у самого изголовья" страдальца любви и войны.

Очень кстати заметить в связи с современными антивоенными движениями, что уже в 1803 году серьезно связывали "войну" с "невежеством": тогда вышло "Рассуждение о мире и войне", составленное по книге французского писателя-сентименталиста Бернардена де Сен Пьера "Вечный мир". В нем осуждались войны. В 1804 году в журнале "Северный Вестник" появилась рецензия на "Рассуждение...": *"Привыкли мы к войне от невежества, отвыкнуть от нее должны с истинным просвещением..."*. Так что "шинельный" патриотизм, как и "квасной", в России далеко на любителя – не неотъемлемый атрибут русского национального характера.

ИТАК:

1) Роман "Рославлев, или русские в 1812 году" Загоскина – не история, а выдумка, основанная на истинном происшествии". Как положительный момент следует рассматривать тот факт, что Загоскин не последовал примеру Фаддея Булгарина, рисующего Наполеона и Кутузова какими-то искаженно-фарсовыми (красок

по-настоящему художественно точных не было еще в русской литературе).

2) С точки зрения изображения истины Загоскина не в чем упрекнуть. он дал нам срез правды самобытно-русской в стадии "заблуждения" на пути от традиции и Бога; при этом без издевательского унижения иначе мыслящих.

3) Пушкин больше полемизирует не с текстовыми знаками загоскинского повествования, а, возможно, с концепцией, духом русского т и х о г о патриотизма, утвержденного в "Рославлеве". Признать сравниваемых писателей духовно идентичными нет оснований. К 30-м ли годам или в 30-е годы они неминуемо на разных полюсах общественной конфронтации, в чем-то, понятно, совпадая, но больше – разнясь. Основное положение загоскинской коллизии – "нельзя оставаться между небом и землей", между двумя раздирающими симпатиями: "долгом" и "идейным прелюбодеянием" – пушкинским "Отрывком" не задето. Поэтому представляется сомнительным утверждение в литературоведении факта "присутствия" полемики со стороны Пушкина с основными тезисами загоскинского "Рославлева"; некая "обратная связь" – наличествует, но больше как невольная вспышка "несовместимостей".

4) Загоскин талантлив. Он с первой попытки "догнал Булгарина", хотя не достиг художественных высот Бестужева, или пушкинского стилистического разнообразия и семантической глубины в более поздней обрисовке им характеров. Но эти "Олимпы", по выражению самого Бестужева, были "по плечу ребенку". Для Руси "рановаты" были гении: "она не выдержит их". Поэтому, с одной стороны, кропотливое бытописание (действительность измерялась "списками воспетых вещей"), а с другой, – выработка национального самосознания и отработка "деталей" его в русской литературе, всегда идейно насыщенной.

5) Мягкая юмористическая, а не сатирическая, как у Пушкина, манера нравственно-дидактического повествования направлена к спасительной "почве", круто в сторону от принявшего дурной оборот рецидива либерализма, разрушающего "всякое верование". Цель – восстановить в людях пошатнувшуюся Веру, спасти Русь от надвигающейся тотальной слепоты, путем нравственного просвещения "заблуждающихся", восстановить мир и согласие в душе-христианке. В условиях надвигающегося грозового безбожия Загоскин дает линейно-прямой ответ на русские "проклятые вопросы" – в форме категорической нравственной санкции, что не похоже на "партийную заинтересованность", а только следствие честной непримиримости ко злу в любом обличье.

6) Марковна – супруга святого мужика Аввакума – родона-

чальница героических женских образов, которая раньше декабристок наглоталась обжигающего сибирского снега. Не из того "теста" Полина пушкинская. Женскую духовность нельзя представить числом прочитанных книг и проглоченных газет; и не соперничество с мужской природой делает ее во многом выше мужчины. Что касается просвещенности, то не она делает людей нравственными, а присутствие Бога внутри и вынос Его в поступок. "Всепозволяющая" безбожная мораль – детище дьявола.

7) Если Загоскин – убежденный пацифист в мирное время, признающий "дубину народной войны" только в силу необходимости, то Пушкин в 1830-е годы – "одумавшийся гражданин" и вместе с тем "неудачный государственник", "одергивающий либералов" и погруженный с головой в политические доктрины и интриги, как его Полина – над картой военных действий. "Квасной патриотизм" пушкинского толка заразителен: его герои отстаивают странноватые "светлые догматы жизни" чуть ли не с пеной у рта. Это нарушает координацию их движений, и герои кажутся порой какими-то кривобокими воплощениями пушкинской стратегической заданности, "статейными" порождениями авторских задач. Христианин в поэте, говорят, очнулся или родился за несколько мгновений до финального свистка судьбы. Загоскин же – крепок и никогда не "сумлевающийся" в Вере. Христианская нравственность ничего общего не имеет с моральным кодексом "облегченного благочестия".

8) Сходство лозунга "народность" еще не означало сходства смысла, вкладываемого в него Пушкиным и Загоскиным.

9) "Разомкнутостью" структуры "Евгения Онегина" удачно воспользовался поэт Полежаев. Тот же метод частичного заимствования для реализации своей цели избрал, думается, и Загоскин, взяв "на прокат" чужую готовую поэтическую формулу.

10) Пушкин в "Рославлеве" попользовался загоскинской схемой любовной интриги, подержал в руках форму и план сюжетного хода и втиснул в готовую структуру *свое* содержание, развертываемое, правда, в условиях *иных* и в другой сфере бытия. Это не "несогласие" полемиста, а паразитизм эксплуататора. Но обижаться, вроде, и не на что за это "п о п у р р и" (музыкальная пьеса, составленная из отрывков различных общеизвестных мелодий). Произведение Загоскина могло "замараться" случайно: будучи задетым обилием посторонних "грузов", взгроможденных на загоскинской фабульный стержень. "Перегруженность" заметна вследствие втиснутости разношерстных материалов в далеко не "безразмерную" загоскинскую модель. Если бы Пушкин, сохраняя все на своих местах, при этом осмеял весь роман Загоскина, то его "За-

писки" по жанру можно было бы отнести к травести.

11) Смирнова А. О., в отличие от пушкинской Полины, не хлопоча об эмансипации, была свободна, выше предрассудков, условностей и сковывающих приличий. Но даже в ней, прототипообразной для Полины, холодный ум не мог искупить ее нравственных недостатков. Полина – "естественная эмигрантка". Загоскин – возвращение к обновленному себе.

12) Исключается предположение, что Загоскин "переносом" черт Татьяны Лариной своей Полине мог "унизить" оригинал. Поэт бы сразу отреагировал на "надругательство". Загоскин не "вырвал" этот образ из рыхлой системы сцепления персонажей в "Евгении Онегине", а, скорей всего, "подобрал" и бережно перенес в свой роман заинтересовавшие его свойства натуры Татьяны для последующей прививки ей иного смысла. Сочувственное изображение страдающей Полины не позволяет видеть "Татьяну в ней" окарикатуренной.

13) Если у Загоскина женский характер – некая постоянная величина в своих сложившихся параметрах, неизменная в принципе, то у пушкинской героини – "линейно зависим" от бытовых критериев, обусловлен факторами преходящих ценностей социального порядка; в ней заметна деформация естественного субстрата – основы нравственно цельного христианского миросозерцания – ради сомнительной "прелести": стать, при таких усугубленных наклонностях, нечто противоположным назначению женщины по Слову Божьему и противоречащим представлениям о женщине на Руси.

14) Не за пушкинско-грибоедовской низкожанровой сатирой, а за нравственно-сатирическим романом булгаринско-загоскинского типа стоял определенный тип бытописания, принадлежащий большой литературе. И даже в обрисовке "высшего света" Пушкина упрекнул Бестужев.

15) Пушкин образом Полины опротестовал, по-видимому, светские представления о нравственности, попытался "оздоровить" прививкой гражданских доблестей атмосферу космополитствующих гостиных, будучи сам "московским европейцем". Его программа конкретных действий, усвоенная Полиной, совпадала с установкой правительства на милитаризацию страны. Полина "методом от противного" повышала боеготовность общества, а выглядела при этой акции "шпионкой". Не показатель крикучести определяет женскую прелесть, а тихая и глубокая вера в свое и чужое достоинство обессмертили образ русской женщины.

Подводя итоги, в заключение важно подчеркнуть, что конфронтация общественно-политических лагерей в России первой трети

XIX века (о чем свидетельствуют и "Рославлевы") имела поистине "апокалиптический" смысл.

В письме от 14 ноября 1812 года Федор Глинка в "Письмах русского офицера" выразился о французском "пленении" Руси так: "...Их можно ловить легче раков. Покажи кусок хлеба – и целую колонну сманишь! Сколько годных в повара, в музыканты, в лекаря, особливо для госпож, которые наизусть перескажут им всего Монто; в д р у з ь я д о м а и в – учителя!!! За недостатком русских мужчин, сражающихся за отечество, они могут блистать и на балах ваших богатых помещиков, которые знают о разорении России только по слуху! И как ручаться, что эти же запечные французы, доползя до России, приходясь и приосанясь, не вскружат голов прекрасным россиянкам, воспитанницам француженок!.. Некогда случилось в древней Скифии, что р а б ы отбили у г о с п о д с в о и х, б ы в ш и х н а в о й н е, ж е н и н е в е с т и х. Чтоб не сыграли такой штуки и *прелестные людоеды* с героями русскими!..".

Оказывается, "прелестные людоеды" исподволь подличали против России, ведя психологическую войну: "Наполеон не прежде решился идти в Россию, пока не имел там тысячи г л а з, вместо него смотревших; тысячи у с т, наполявших ее молвой о славе, непобедимости и мудрости его; тысячи у ш е й, подслушивавших за него в палатах, дворцах, в домашних разговорах, в кругах семейственных и на площадях народных. Таким-то образом, подрывая коренные свойства народа, заражая нравы, ослепляя умы, соблазняя сердца лестью и золотом, одерживал он заранее победы в сей тайной, но всех других опаснейшей войне...". Так думал фронтовой офицер Глинка, передавая отпечаток того, ч т о и к а к виделось, мыслилось и чувствовалось в тот приснопамятный 12-й год, когда вся Россия, вздрогнув, встала на ноги и с умилительным самоотвержением готова была на всякое пожертвование.

Сама ли Россия скатывалась, или с помощью "людоедов", подталкивающих в пропасть, – но к 1917 году зазиял ее конец. И только недавно прозвучал исторически важнейший вопрос "что же с нами стало?". В пятом номере журнала "Наш современник" за 1986 год бесстрашный писатель Виктор Астафьев сформулировал этот "проклятый вопрос" в "Слепом рыбаке": "Что с нами стало? Кто и за что вверг нас в пучину зла и бед? Кто погасил свет добра в нашей душе? Кто задул лампаду нашего сознания, опрокинул его в темную, беспробудную яму, и мы шаримся в ней, ищем дно, опору и какой-то путеводный свет будущего. Зачем он нам, тот свет, ведущий в геенну огненную? Мы жили со светом в душе, добытым задолго до нас творцами подвига, зажженным для нас, чтоб

мы не блуждали в потемках, не натыкались лицом на дерева в тайге и друг на дружку в миру, не выцарапывали один другому глаза, не ломали ближнему своему кости. Зачем это все похитили и ничего взамен не дали, породив безверье, *всесветное во все безверье.* Кому молиться? Кого просить, чтоб нас простили? Мы ведь умели и еще не разучились прощать, даже врагам нашим...".

Загоскин выявил наличие "идей против всякого верования", а Астафьев показал, к чему это привело Русь. Загоскину было не до пушкинских затей, утех, напряжений "шекспировских" в экзальтации ("Ай да Пушкин!.. ай да сукин сын!" – закончив "Бориса Годунова", перечитал, бил в ладоши один у себя в комнате и кричал Пушкин). Он кровь проливал за отечество, а не на дуэлях. Загоскин жил Верой, а Пушкин всю жизнь шел к ней. И хоронили Загоскина как патриота русского, а Пушкина – по масонскому ритуалу: масон Александр Тургенев положил в гроб Александра Пушкина его белые масонские перчатки "вольного каменщика"...

Можно сказать: о вкусах не спорят. Но разная ориентация, вполне понятно, накладывала отпечаток и на творения этих сравниваемых писателей. В пушкинском "Рославлеве" вся психологическая гамма иная – как сами авторы несравнимы (ведь даже "смирение" пушкинской Татьяны Лариной меньше, пожалуй, "гордости" в ней – чего не заметил Достоевский, преувеличивая добродетель в ней).

Относиться к родине можно по-разному. Весной 1970 года Владимир Осипов, успевший выпустить до тюрьмы пять номеров самиздатского журнала "Вече", написал замечательную статью именно под названием: "Три отношения к Родине". Вот эта национально-русская современная точка зрения:

Первое отношение к родине – это н е н а в и с т ь. Родину ненавидят за ее нелегкую историческую судьбу, за первенство государственного интереса над личным, за тысячелетие веры в своих правителей и в свою Церковь. Ненавидят народ за его равнодушие к ярмарочной свободе. С восторгом вспоминают желчь народного благодетеля: "Жалкая нация. Снизу доверху – все рабы". Рабы – потому что не приняли сновидения, дольки. Рабы! – потому что не хотели жить по-своему. А когда сбылись сны, сложили белые головы. Но нынешнему нигилисту плевать на это: "Во всем виноват сам народ. Другой не допустил. А этот – пожалуйста". *Если уж говорить о вине, то виновен не народ, а его интеллектуальная верхушка, изменившая отечественным традициям в погоне за иноземным разумом. Импорт ума! Какое лакейство, какое отвратительное обезьянничанье перед обладателями "последней истины"! Накоплен Монблан мусора, по меткому замечанию философа, и вот*

в нем, а не в своем отечестве выискивают они спасительные рецепты. Дерево растет корнями в земле. Так ведь по науке надо наоборот. И вот миллионы деревьев вырывают из земли и ставят корнями в небо. Жизнь неразумна. Разумны брошюры. Наоборот! -- лозунг опьяневшего нигилиста. Он меняет окраску: вчера – красный, сегодня – голубой. Но и вчера, и сегодня он верен в одном – в ненависти к отечеству. С каким наслаждением он бы распродал на аукционе земли своей родины. У него найдутся причины. Где нет исторических оправданий, он найдет юридическое, где молчит право, он вспомнит пятнадцатый век. Где нет вообще предлогов, он придумает свежие. Лишь бы рассечь на десятки кусков, чтоб от родины осталось одно междуречье да пыль в музеях. А народ – о, народу он придумает, как надо жить. Ты угнетатель, ты держиморда, потеснись и сожмись, а лучше умолкни. Распинается о правах, о голубой свободе, а собственного соплеменника гонит со своих земель. *Где уж там понимать душу нации. Терпенье он назовет холопством. Пассивность – извечной склонностью к деспотии.* Когда ему укажешь, что историческая-то деспотия – больше ярлык, чем сущность, он тут же вспомнит про палки ненавистного ему правителя. Правителя-то он ненавидит за патриотизм, а вот что палки-то привез из-за моря другой, прискорбный правитель, этого он не вспомнит.. Потому что того он любит. Тому он и палки простит, и головы – за иноземный импорт. Впрочем, современный нигилист себя таковым не считает. Ведь он хлопочет об утверждении новых истин. Он провозглашает равенство мошенников и святых, вторичность души, относительность добра и зла. А поскольку, к несчастью, свершился прогресс, идеи нигилистов стали идеями века. *Они замутили дух наций, опошлили благородство и честь, подточили веру и обесценили жизнь. В обмен они принесли свободу. В современном Вавилоне существует свобода Богу и свобода Дьяволу.* Там разрешено творить красоту и делать мерзость. А т. к. одной категории людей неизмеримо больше, чем другой, то нетрудно понять, кто царит в Вавилоне. Нетрудно понять, что пробиваются вверх не самые честные, а самые ловкие. Надо суметь угодить переменчивой толпе, чтобы эта толпа позволила тебе делать историю. Потому и делают ее актеры, а не борцы. *Нет отечества. Есть Карфаген с его нищетой и произволом и Вавилон. Выбирайте, кому что нравится – третьего не дано!* А ведь, пожалуй, подобная альтернатива кому-то должна быть дьявольски удобной. Вот он, хихикающий Мефистофель, держит в руках по нитке к куклам – соперницам. Гляньте, да они дерутся, ай-ай, вон та вытаскивает нож, публика в ужасе, однако, проходит акт – другой, пыл сникает, и куклы расходятся, сдвинув

брови. Но публика напряжена: ждет роковой развязки... Где уж тут помнить о родине. Потоком клеветы залито все: деяния дедов, душа и самый смысл отчизны. Попробуй оправдайся, когда в тебя швыряют кирпичами томов, рулонами газет, антеннами радиостанций. Ты анахронизм и предрассудок, ты попросту отстал от века. Да ты ведь, пожалуй, не только в родину, но и в добро не веришь? И в абсолютность морали? О, как ты отстал от прогресса. Бедный арьегардист. Аборигену из жарких стран еще позволительно говорить о родине: это трудности роста, переходный этап Да к тому же и родина у них понятие современное, с прогрессивным душком. Что ж, надо "поздравить" нигилистов мира с большим успехом. Праздник на их улице. Ликуйте, враги отечества!

Второе отношение к родине — это спекуляция. На родине спекулирует стар и млад, ее "любит" кровавый тиран и доктор фальсификации, начинающий карьерист и беспутный болван. Ловкая подмена понятий. Главное — подползти к сердцу. Формацию не всунешь в народную душу, а для родины у каждого есть сокровенное место. Стручок перца замазать отечественным тестом, лишь бы проглотили. И глотают, и появляется нечто странное, нелепое до кошмара. Появляется модерн — патриот. Атеист, считающий религию уделом темных старух. Апологет насилия. Жаждет удушения всех и вся, кто ему не понятен. Иноземную плесневелую пищу почему-то считает отечественной и от имени отечества всучивает соседям. Когда те недовольны, бьет кулаком и взывает к родине. Поносит Вавилон, но боится его силы и духа. *Лебезит перед иностранцами, если это позволено.* Невежда. Из трех тысячелетий мудрости вывел лишь одно: что он умнее всех и что нет Бога. Учит, как надо жить, но *учит по шпаргалкам иноземных двоечников. Мораль — это то, что выгодно.* И еще он не любит лавочников, но не потому, что их идеи враждебны отечеству, а просто потому, что они более ловкие. Затирают тупицу. Нигилист для него — отрада. На нем он сорвет свою ненависть к разности. На нем проявит свой нормированный патриотизм. Его представит, как срывающуюся лавину, чтоб не покидали пещеру. *Но когда он сталкивается с патриотом натуральным, он приходит в холодную ярость.* Потому что всегда помнит, что главная его задача — не борьба с нигилистами или с кем бы то ни было, а *борьба с отечеством.* И лучшее средство для этого — новейший, "особенный" патриотизм. Цинизм невероятный: перелицевать имена, города, архипелаги и самую родину и после этого трубить о патриотизме! Нигилистам в свою очередь подобные "патриоты" — в самый цвет. Все насильники, все душегубы. Какая разница, три полоски или одна... Весь этот

модерн-патриотизм возник мгновенно, по мановению дирижерской палочки. До мановения были откровенность полная: ненавидели отечество открыто и не стыдясь. После мановения отечественным нигилистам потребовалось тут же стать патриотами – и они стали. Так что *модерн-патриотизм просто отпочковался от нигилизма.* Троянский конь неуловимого врага. Подсадная утка нигилистов-оборотней. Вчера – нигилисты, сегодня – патриоты, а завтра – кто? Как прикажут? Или полюбили теперь? Пейзаж, географическое пространство? Конечно, территория и природа – тоже родина. Но главное – это совокупность духовных и нравственных ценностей, накопленных нацией на ее земле. Эти ценности нью-патриот не только не уважает, а обливает помоями клеветы. Еще гаже, когда он пытается приспособить их к своим надобностям. Поскольку эта крикливая публика – сплошная бесталанность и серость, она стремится заарканить великанов прошлого. Благо из могил не протестуют. *Историю великого народа превращают в колоду крапленых карт. Капитал духа отвергнут, но выцежена желчь отщепенцев.* У каждой нации были свои уроды. Для модернистов родина – это собрание уродов. Все же в трескотне модернистов отрадна полная неспособность умело и красиво лгать. Все, к чему они прикасаются, становится карикатурой. Собственные заклинания повторяют так часто, что отбивают всякое желание любить и верить. Каждого заведомо считают идиотом, которому нужны тысячи напоминаний. Нельзя ступить шагу без наставительных прописей. Все это отрадно, когда касается их карточного хозяйства. Но горько – когда к этой мерзкой клоунаде, как духовный соблазн, приклеивают несбыточное имя. Нынешние нигилисты говорят: "Чего вы цепляетесь к отечеству? Хотите заодно с ними? Не видите грязных лап?". А ведь хватаются не за одну родину. И за права – тоже. И за всяческую эволюцию. Что ж вы не отрекаетесь от прав и прогресса? Разве скорпионы не вцепились в прогресс? Кающиеся нигилисты... В бреднях раскаялись, от огня отошли, стали поперек горла горлопанам, но нигилистами все-таки остались. Враги на словах, друзья на деле? Этим или тем? Но что же такое нация? Вера, кровь, язык и земля. *Религия и даже особенная совокупность обрядов составляют часть, причем наиболее существенную, духа нации. Отдельная личность как личность может обойтись без религии. Отдельная нация как нация без религии жить не может. Там, где кончается вера, кончается нация.* Никакая научная гипотеза не способна заполнить духовный вакуум национального организма. Вера в существование элементарных частиц не объединяет племя. *Народ распадается буквально на глазах, когда распадается вера в Бога.* Правда, сохраняется другая сильная основа

нации — кровь. Но удивительное своеобразие биологического ("крови") невозможно объяснить, не обращаясь к мистике. В национальном живом организме всегда присутствует какая-то тайна, нечто неподдающееся научному эксперименту. Один народ мелочен и экономен, другой расточителен и беспечен, третий любит свой дом и право, четвертый не имеет знака, чтоб обозначить свободу, пятый скитается и хитрит... И живут подчас рядом, бок о бок, и ветры те же, и пресловутая экономика, а вот разница в глаза бьет. Неуловимое семя, неизменное, как симметрия скул. Вера и кровь. Душа и тело. Вера как кровь души. Телу — пространство для бытия. Душе — язык. Нью-патриот не знает ни веры, ни крови. Его понимание нации дальше экономики и языка не выходит. Оставим ему экономику, которую он любит так страстно, что задушил в объятиях. Но даже язык он исказил до такой степени, что его культурный прадед с трудом разберет галиматью слововведений и уж совсем не поймет потомка, низведшего великий язык до матерщины рабов. Итак, спекулянт уже потому не может быть патриотом, что он — враг веры. Веры вообще и ее национальной формы в особенности. Жалкое бытие, испорченный язык, проданная вера. Что же остается от нации? Кровь, из которой месят новое племя. Новый народ. Только антропологические признаки еще будут напоминать некоторое время об исчезнувшей нации. О погибшем отечестве. Ликует спекулянт: конец не за горами. И этот отступник, продавший праотцов, еще смеет кричать другим: "Отщепенцы!.."

Третье отношение к родине — это Любовь. *Квасная любовь — говорят недруги. У слепых один квас на уме.* Хотят сказать, что подлинные патриоты — они, а тут, дескать, сплошной квас. Но у всех "не-квасных" всегда обнаруживаешь бычью ненависть к отечественным святыням, к нравственному наследству предков. И ведь знают прекрасно, что *не в квасе дело, что влюблены в дух и честь, но как сладко лягнуть чужое.* Впрочем, после души и флага, после алтаря и мудрости, как последнюю ступень храма, почему бы не принять и квас? До пограничного ручья и дедовского наличника, до вздоха последнего — любить. Назад! Домой! Но кто осмелится повторить столь не модный лозунг? А как же быть со спиралью, которая вьется все время вверх? Как быть со скепсисом и духовной гульбой? К которой приучил нигилизм. Спираль, она никуда не вьется. У каждого народа своя спираль. Общей для человечества не было и в помине. Нет деревьев вообще, есть ель, баобаб, саксаул. Нет и вненационального человечества. Каждый принадлежит к определенному племени, если только не прилетел из соседней галактики. Человек имеет мать, жену, братьев, родных и троюродных, друзей, единомышленников, близких и дальних. Это уже часть

нации. Конкретные живые люди, которых можно любить. Потому что любовь всегда конкретна. Как полюбить далекого аборигена, если ты его в глаза не видел? Через чувство к родичам и друзьям, к однодумцам сегодняшним и вчерашним возникает живое чувство к целой нации. Ни один человек не замыкается в любви к своим. У каждого есть также симпатии и антипатии к другим народам. Кто ровен и одинаков ко всем, тот не любит никого. Конечно, святой, порвавший с мирской греховностью, способен полюбить всех. Он способен полюбить и человечество в целом. Но святые в нашей жизни – редчайшее исключение. И если полагаться только на них, то воз земных дел вытащить не удастся. Обычный человек больше или меньше симпатизирует другим нациям в зависимости от их чувств к его народу. Если его родину полюбят все, патриот ответит взаимностью всей планете. Только так может появиться любовь к человечеству. Через собственную нацию. Каждое племя имеет особый психический комплекс, особую совокупность обычаев и привычек, даже особое восприятие по виду универсальных лозунгов. Каждое племя имеет свою судьбу. И если племени грозит гибель, если племя завели в трясину, неужели патриот будет звать вперед и глубже? Кивать на других У других, может быть, есть выход, а, может, – своя трясина. *Другие сами о себе позаботятся. Спасать племя, а не обезьянничать перед веком. Модную дешевку скепсиса, беспринципный космополитизм, прогресс растления – за борт!* На этом модном пути можно потерять все, даже самого себя. Там нет цели, если не принимать за цель распад Человека. Преступно по-прежнему семенить вперед. Назад! Только назад! Вернувшись обратно, к месту от которого начали блудить, надо отдышаться, привести все в порядок и зашагать вперед по другому пути. Назад чтобы действительно пойти вперед! Конечно, в прогрессе не все плохо. Там есть и ржаные зерна. Кто мешает перенять то, что действительно благо? Что полезно родине. Что целебно народу. *Патриот не побоится заимствований, если они укрепят отечество.* Но у родины своя судьба и свой путь. Она – одна на свете. Единственной и незаменимой отдано сердце. Любовь к Ней приходит раз в жизни. И навсегда. За что же ты любишь Ее, брат? Говорят, вид ее жесток и бесчеловечен, маска до отвращения безобразна. Разве мало красоток на белом свете? Или ты веришь, что лягушка станет прекрасной царевной? Что Кащей не бессмертен? Врагам не понять, что можно до рези в глазах любить Ее, которая для них хуже всех и которая лучше всех. Один честный писатель, растерявшийся на перепутьи, выпустил жуткие слова: "Нация воров и пьяниц". Никогда перед сонмом добродетельных наций нельзя так сообщать о своем народе. Ибо такая правда – ар-

гумент врагам. Но представим на минуту, что это так. Нация воров и пьяниц. Ханжей и ябед. Что вы доказали этим? Любить – это значит переделать. *Патриот не тот, кто бахвалится, а тот, кто болеет.* Кто хочет изменить и возвысить. Только родина, одна она способна переделать народ. Никакие права и свободы сами по себе ничего не изменят. Изменить может лишь зов к отечеству. Патриотизм сердец превратит подопытную толпу в гордый и благородный народ. В нацию героев и святых. В цвет человечества. Домой! Под отчий кров. Пусть воют волки на чужих спиралях, чужие волки на чужом пути, пусть берет болото пьяных проводников, пусть расхлебывают сами. Своими заботами сыты по горло. Боль нестерпимая все поглотила. Нация, нация превыше всего. Выводить немедля. Спасать, ЕСЛИ еще не поздно. А если поздно, то жизнь – зачем она патриоту? Прозябать в бессилии, как свыкшийся конь? Но даже если все потеряно, нация исчезнет, логически исхода нет, патриот обязан кричать во мрак: "Назад!". С надеждой на последний шанс. На милость истории. Терять нечего. А вдруг удача? Народ выживет. Родина расцветет.

Прекрасная, щедрая, полная любви к своим и чужим. Свободная, ни от кого не зависимая. Неподатливая экспериментам пришельцев. Милосердная и могучая. Единая и неделимая. Любимая навсегда. Встанет из пепла неистребимая птица, взлетит над красной равниной сквозь синее небо к белой звезде. Священное имя, которое единицы шепчут в тишине после молитвы, взволнует души сотен и тысяч. Сегодня – до отчаяния мало. Завтра... Соплеменник, брат, где ты? Где твое сердце?

"ВЕСТНИК РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ" (№ 103 за 1972 год) опубликовал эти "Три отношения к родине" с характерным редакционным примечанием: "В. Осипов... придерживается узко-националистических позиций. Мы печатаем его статью, как яркий пример этой тенденции". О вкусах, как говорится, не спорят. Однако только в спорах рождается истина.

И сегодня в Советском Союзе всплыл не теряющий актуальности извечный вопрос о "славянофилах" и "западниках". Западники, идеализируя Запад, полагали, что любая форма общественной жизни, скажем, экономическая форма, в общем, любое проявление современной жизни Запада, будучи перенесено в Россию, по их мнению, принесло бы свои благотворные плоды. Славянофилам, напротив, представлялось, что любое перенесение чего бы то ни было приведет к дурным последствиям. По мнению В. Кожинова, западники были неправы, когда они думали, что можно пересадить из

одного общества в другое какую-то целостную модель общественной и даже частной жизни. Ведь в конце концов каждая страна складывается в течение веков совершенно своеобразно, в особой общественной, исторической и природной обстановке, и вот такого рода пересадка невозможна. В защиту позиции Кожинова следует сказать, что нередко "консерватизм наследственности" физически даже убивает человека, "пересаженного" из деревни в город.

Вот как оппонирует Кожинову "западник" Николай Шмелев. Для меня всегда был искусственным, придуманным спор — Запад, Восток. Я не верю в то, что какие-то западные социально-экономические формы не были приемлемы для России XIX века, неприемлемы и сейчас и никогда не будут в дальнейшем, что их пересадка искусственна.. Опять я не верю в то, что русский человек где-то в глубине, или вот русская жизнь чем-то принципиально отлична от жизни китайца или, допустим, европейца. Люди есть везде люди, и системы стимулов, системы рациональности, системы форм рациональной организации социально-экономической жизни — она везде одинакова, она *не имеет особых национальных окрасок. В принципе.*

Спорят наследники "славянофилов" и "западников", как когда-то "Записка о древней и новой Руси" Карамзина и "Проект" Сперанского. Две головы "орла" разрывают раздорами изболевшееся тоской по полной Правде общерусское сердце. В споре снова сошлись Восток и Запад, ибо сама Россия географией и судьбой — "желудочки сердца" этих устремлений, органически связующих ум и закон Запада и чувствительность и милость Востока. Но это не относится к идейным "спекулянтам".

В начале XX века поэт Александр Блок мог задаваться вопросом, что будет в России: Россия-Азия или Россия-Америка? Евразийцы отказались от Азии! Обрубили родину души. И остались с "прогрессом", от которого Белинский, Герцен и другие западники ожидали напрасно нравственного благотворного преображения внутреннего мира людей. Проповедь исторического прогресса путем внешнего просвещения, изменения социальных институтов по западному образцу оставляло открытым вопрос о качестве получаемых в результате духовных ценностей. С точки зрения высших духовно-нравственных запросов, на это важно обратить внимание, славянофилы как раз выделяли иной тип — *не внешнее просвещение, а внутреннюю образованность:* такое просвещение, которое просвещает сердце и располагает его к добру. И вот здесь славянофилы обращались к христианским идеалам древне-русской культуры, к тем идеалам, которые вдохновляли подвижников,

иконописцев, зодчих, простых людей того времени. Тех идеалов, которые возвышали человеческую душу и врачевали в ней дурные свойства. Они понимали, и хорошо понимали, что без этого нормальных человеческих отношений между людьми никогда не будет. Ведь если мы хотим по-настоящему достойной цели и очеловечения человека, если хотим, чтобы совесть в нем была твердыней и основным мерилом деятельности, мы должны рассматривать любые наши действия и поступки, любые общественные явления именно с точки зрения внутренней образованности. *Поэтому и русское, если в нем не звучал голос истины, осуждалось славянофилами.*

До совсем недавнего времени в СССР не было ни трудов славянофилов, ни серьезных текстов, связанных с тысячелетней историей России. Тексты славянофила Аксакова, например, просто изъяты из употребления читательского, а Белинского – навалом. Диспропорция "питания" – перекос нравственный. И все еще печатается "Письмо" Белинского к Гоголю, а письмо Гоголя не печатается. Герцен не побоялся напечатать в "Полярной звезде" и письмо Белинского и ответ Гоголя, как переписку, а не монолог Белинского. Как диалог. Гоголь говорил, что просвещение – вот на чем они столкнулись с Белинским. Христианская соборная идея русской общины – частной человеческой доброты, сочувствия одного человека другому; попирающая идею насилия, лежащую в основе тех теорий, которые победили в России в начале XX века, но все еще не победили Россию. Гордыня ума, выявленная Гоголем и Достоевским, победила. Вытяжка, пункция – без спроса и без наркоза! Как тут не скажешь: *с нами Бог.*

БИБЛИОГРАФИЯ ССЫЛОК НА ИСТОЧНИКИ:

1. Ю. А й х е н в а л ь д. Силуэты русских писателей. Изд-во т-ва "Мир", вып. 1, 1911

2. М. А л е к с е е в. Пушкин. Сравнительно-историческое исследование. Изд-во "Наука", Ленинград, 1972.

3. А. М. Воскрешаемое чаемое или восхищаемое? (О религиозных воззрениях Н. Ф. Федорова). – "Богословские труды", том XXIV, Москва, 1983;

А н т о н и й, митрополит Ленинградский и Новгородский. Из истории новгородской иконографии. – "Богословские труды", том XXVII, Москва, 1986.

4. А. А м ф и т е а т р о в. Женщина в общественных движениях России. Женева, 1905.

5. Н. А н д р е е в а. Не могу поступаться принципами. – "Советская Россия", 13 марта 1988, с. 3.

6. М. А н т о н о в и ч. Литературно-критические статьи ГИХЛ, Москва-Ленинград, 1961.

7. А. А х м а т о в а. "Адольф" Бенжамена Констана в творчестве Пушкина. – "Временник Пушкинской комиссии". Изд. АН СССР, 1936.

8. К. Б а т ю ш к о в. Сочинения, том 3. СПб., 1887.

9. М. Б а х т и н. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. Москва, 1975.

10. В. Б е л и н с к и й. Полное собрание сочинений, том 1. АН СССР, Москва, 1953.

11. В. Б е л и н с к и й. Полное собрание сочинений, том 7. АН СССР, Москва, 1955.

12. А. Б е с т у ж е в - М а р л и н с к и й. Сочинения в двух томах, том 2. ГИХЛ, Москва, 1958.

13. А. В а с и л ь ч и к о в. Семейство Разумовских, том 5. СПб., 1894.

14. В. В а ц у р о. Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х годов. – "Пушкин. Исследования и материалы", том 6. "Наука", Москва-Ленинград, 1969.

15. С. В е н г е р о в. Типы Пушкина. СПб., 1912.

16. В. В и н о г р а д о в. О языке художественной литературы, ГИХЛ, Москва, 1959.

17. В. В и н о г р а д о в. "Юрий Милославский" М. Н. Загоскина

18. П. Владимиров. Пушкин и его предшественники. – "Памяти Пушкина. Научно литературный сборник... университета Св. Владимира". Киев, 1899.

19. "Вопросы литературы", 1988, № 12.

20. П. Вяземский. Записные книжки (1813–1848). Издание подготовила В. Нечкина. АН СССР, Москва, 1963.

21. М. Геллер. Познакомьтесь, Сталин! – "Русская мысль", 31 марта 1989 с. 5.

22. Е. Гладкова. Прозаические наброски из жизни "света". – "Временник Пушкинской комиссии". Изд. АН СССР, № 6, 1941.

23. И. Глухарев. Графиня Рославлева, или супруга-героиня, отличившаяся в знаменитую войну 1812 года. Историко-описательная повесть XIX столетия Москва, 1832.

24. В. Глухов. О творческом замысле повести Пушкина "Рославлев". – "Научные доклады высшей школы". Филологические науки, 1962, № 1.

25. А. Грушкин. "Рославлев". – "Временник Пушкинской комиссии". Изд. АН СССР, № 6, 1941.

26. Г. Гуковский. Об источнике "Рославлева". – "Временник Пушкинской комиссии". Изд. АН СССР, №№ 4–5, 1939.

27. Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Дневник писателя за 1877 год. Том 25. "Наука", Ленинград, 1983.

28. Ф. М. Достоевский. Статьи за 1845–1878 годы. Госиздат, Москва-Ленинград, 1930.

29. Н. Дурова. Встречи с Пушкиным. – "Письма женщин к Пушкину". Под редакцией Л. Гроссмана. Москва, 1928.

30. В. Жуковский. Подробный план учения В. К. Наследника. – "Русская Старина", февраль 1880.

31. М. Н. Загоскин. Рославлев, или русские в 1812 году. СПб. – Москва, 1901.

32. И. Замотин. Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе, том 1. Изд. т-ва М. О. Вольф, СПб. – Москва, 1913.

33. И. Замотин. Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе, том 2. Изд. т-ва М. О. Вольф, СПб. – Москва, 1913.

34. Т. Заславская. Социальное управление перестройкой. – "Голос Родины", сентябрь 1988, с. 4–5.

35. И. Ильинская. Стоит ли "воскрешать" Загоскина? – "Нева", 1957, № 1.

36. Интервью, взятое у секретаря патриотического объединения "Память" Д. Д. Васильева Владимиром Титовым. Мюнхен

(цитируется по магнитофонной записи).

37. "Исторический Вестник", том 79, 1900.

38. История русской литературы. Под редакцией Д. Овсянико-Куликовского. Том 1. Москва, 1908.

39. История русской литературы в трех томах. Главный редактор Д. Благой. Том 2. АН СССР, Москва-Ленинград, 1963.

40. Ф. К а н у н о в а. Эстетика русской романтической повести. Изд. Томского университета, Томск, 1973.

41. П. К а р п. Солнце русской поэзии. – "Книжное обозрение", 3 июня 1988, с. 3.

42. В. К е р и м о в. А. Хомяков против И. Киреевского. – "Наука и религия", 1989, № 1.

43. В. К л ю ч е в с к и й. Евгений Онегин и его предки. – Журнал "Русская мысль" (Москва), книга 2, 1887.

44. В. К о ж и н о в. "Самая большая опасность..." – "Наш современник", 1989, № 1.

45. Б. К о н с т а н "Адольф". Перевод П. Вяземского. СПб., 1831.

46. В. К о с с о в с к и й. Странная инициатива Библиотеки Конгресса. Имя "Россия" стирается со страниц истории. – "Новое русское слово", 16 августа 1988, с. 3.

47. С. К у н я е в. "Все начиналось с ярлыков...". – "Наш современник", 1988, № 9.

48. А. Л е ж н е в. Проза Пушкина. Опыт стилевого исследования. Издание 2. Москва, 1966.

49. Н. Л е р н е р. Проза Пушкина. Издание 2. Кн-во "Книга", Петроград-Москва, 1923.

50. Г. Л и т в и н о в а. "М. Н. Загоскин". – "Русские писатели. Библиографический словарь". Москва, 1971.

51. А. В. Л у н а ч а р с к и й. Просвещение и революция. Сборник статей. Издательство "Работник просвещения", Москва, 1926.

52. "Наука и религия", 1987, №№ 2–4, 6, 7.

53. А. Н а у м о в. Вперед, к Марксу! – "Мировая экономика и международные отношения", 1988, № 1.

54. Епископ Н и к о н. Об анонимных письмах, об "инаковерующих" и мой ответ одной из них. (Из дневников епископа.) – "Церковные Ведомости", № 2, 12 января 1913.

55. "Новый мир", 1989, № 1.

56. В. Ф. О д о е в с к и й. Сочинения в двух томах, том 1. "Художественная литература", Москва, 1981.

57. "Огонек", 1988, № 36.

58. Р. П а й п с. Россия при старом режиме. Кембридж, Массачусетс, 1980.

59. Переписка Пушкина. Издание Императорской Академии Наук. Под редакцией В. Саитова, том 1 (без года).

60. Переписка Пушкина. Издание Императорской Академии наук. Под редакцией В. Саитова, том 2 (без года).

61. Переписка В. Эйдельмана с В. Астафьевым (2.8–28-9-86) – "Материалы самиздата" (Радио Свобода, Мюнхен), выпуск № 2/87, 23 января 1987.

62. С. П е т р о в. Исторический роман Пушкина. – "Историко-литературный сборник". Под редакцией С. Бычкова и других. Москва, 1947.

63. С. П е т р о в. Исторический роман А. С. Пушкина. Москва, 1953.

64. С. П е т р о в. Русский исторический роман XIX века. Издательство "Художественная литература", Москва, 1964.

65. Письма Пушкина к Е. М. Хитрово: 1827–1832. – "Труды Пушкинского Дома", выпуск 48. Издание АН СССР, Ленинград, 1927.

66. Письмо А. Шаховского к С. Аксакову (8 января 1930 года). – "Русский Архив", 1873.

67. А. П у ш к и н. Полное собрание сочинений в шести томах. Под редакцией М. Цявловского. Том 1, Academia, Москва-Ленинград, 1936,

68. А. П у ш к и н. Полное собрание сочинений в шести томах. Под редакцией М. Цявловского. Том 4, Academia, Москва-Ленинград, 1936.

69. А. С. П у ш к и н. 1816–1825. По документам Остафьевского архива князя П. П. Вяземского. СПб., (без года).

70. А. С. П у ш к и н. Собрание сочинений в одном томе. "Художественная литература", Москва, 1984.

71. А. П ы п и н. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. Исторические очерки. Издание 4. Кн-во "Колос", СПб., 1909.

72. Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым. Под редакцией М. Цявловского. Москва, 1925.

73. "Раут" (исторический и литературный сборник), книга 3. Москва, 1854.

74. И. Р о з а н о в. Грибоедов и Пушкин. – "Пушкинский сборник студентов Московского университета". Москва, 1900.

75. "Русская Старина", 1900, № 1.

76. "Русский Архив", книга 1, 1879.

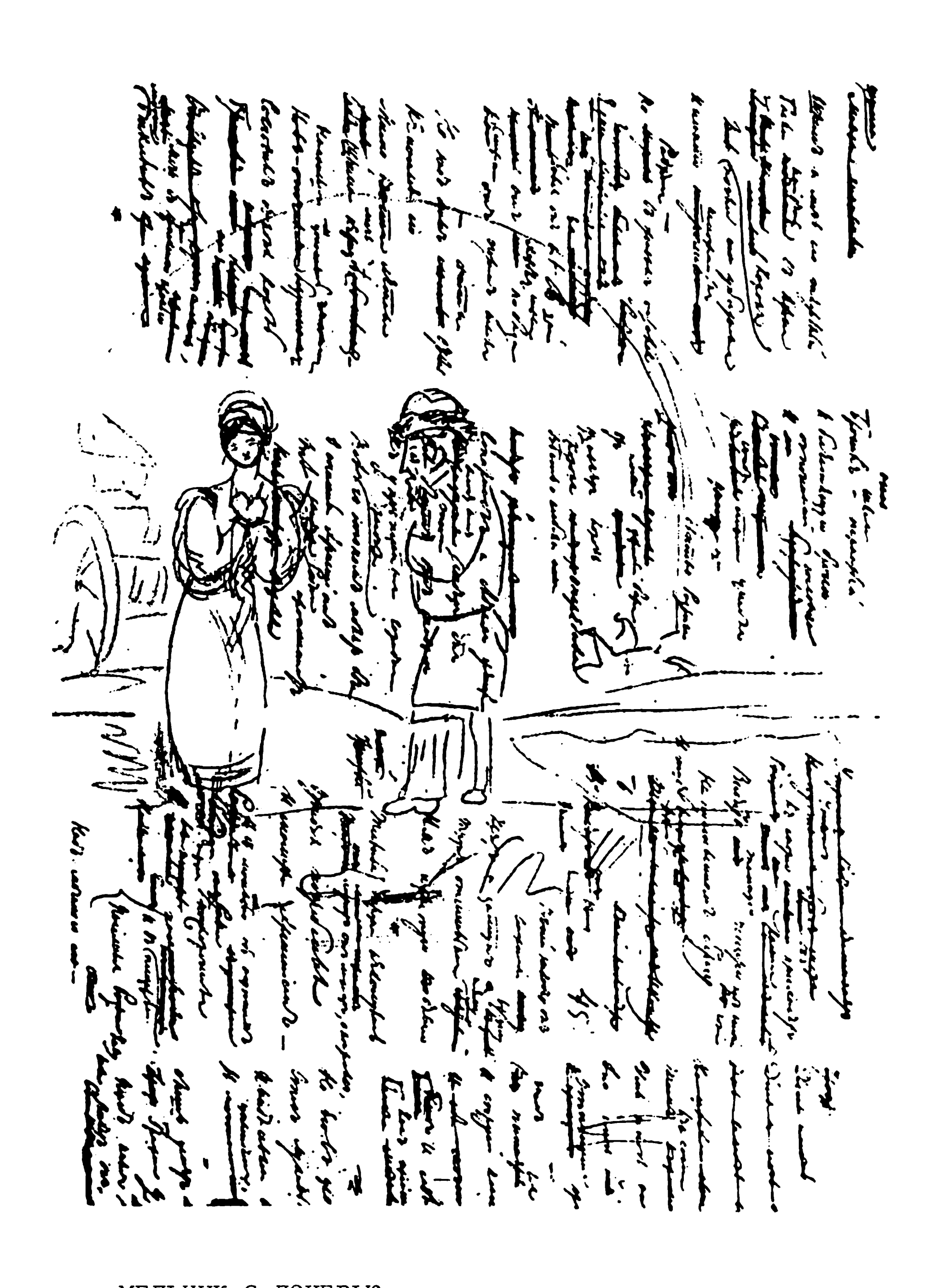
77. Ж. Руссо. Военнопленные. – Ж. Руссо. Избранные сочинения, том 1. Москва, 1961.

78. П. С а к у л и н. Русская литература, часть 2. Москва, 1929.

79. М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в двадцати томах, том 6. "Художественная литература", Москва, 1968.
80. "Северный наблюдатель", 1817, № 1.
81. В. Селюнин. Истоки. – "Новый мир", 1988, № 5.
82. А. Скафтымов. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958.
83. А. И. Солженицын. Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни. Имка-Пресс, Париж, 1975.
84. А. И. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. – "Новый мир", 1962, № 1.
85. "Старина и Новизна", книга 6, 1903.
86. "Сын Отечества", 1813, № 7.
87. "Сын Отечества", 1813, № 26.
88. Е. Тарле. Наполеон. Москва, 1941.
89. А. Терц (А. Д. Синявский). Прогулки с Пушкиным. Париж, 1975.
90. Л. Толстой. Полное собрание сочинений, том 83. ГИХЛ, Москва, 1938.
91. С. Толстой. Очерки былого. Гослитиздат, Москва, 1956.
92. Б. Томашевский. "Кинжал" и m-me de Stael. – "Пушкин и его современники", выпуск 36. Петербург, 1923.
93. Б. Томашевский. Пушкин. Книга вторая. Материалы к монографии (1824–1836). Издательство АН СССР. Москва-Ленинград, 1961.
94. Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы. Мюнхен, 1967.
95. М. Цявловский. Рассказы А. О. Смирновой в записи Я. П. Полонского. – "Голос Минувшего", 1917, №№ 11–12.
96. Часть собственного имени. Диалог писателя Валентина Пикуля и критика Сергея Журавлева. – "Наш современник", 1989, № 2.
97. Г. Шахназаров. Мировое сообщество управляемо. – "Правда", 15 января 1988, с. 3.
98. Л. Шестов. А. С. Пушкин. – Альманах "Воздушные Пути" (Нью-Йорк), 1960.
99. А. Широпаев. Козлиный дух, или на дворе "двадцатые годы"? – "Наш современник", 1989, № 1.
100. И. Щебылкин. "Рославлев" М. Н. Загоскина и "Война и мир" Л. Н. Толстого. – "Толстовский сборник. Доклады и сообщения XII Толстовских чтений", выпуск 5. Тула, 1975.
101. П. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Петроград, 1916.

СОДЕРЖАНИЕ

ГРУЗИНКА НА ФОНЕ ГОР.
Иллюстрация к эпилогу поэмы "Кавказский пленник"
Июнь 1821г. - март 1822г. Кишинев.



МЕЛЬНИК С ДОЧЕРЬЮ.
Иллюстрация к драме "Русалка".
Апрель 1832 г. – март 1834 г. Петербург.



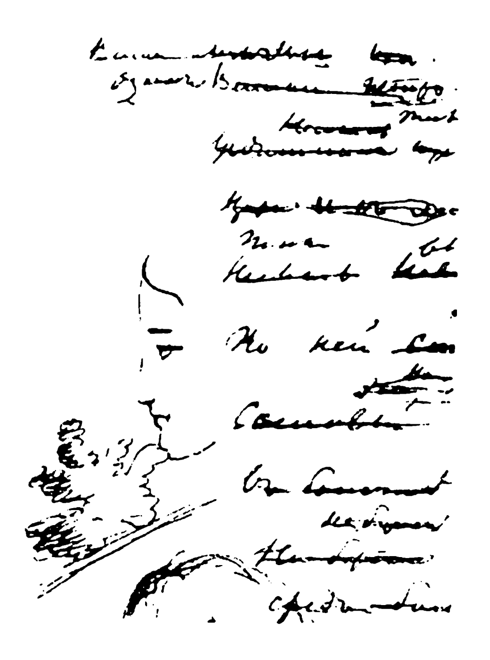
Гр. Е.К. ВОРОНЦОВА
20 сентября – 22 октября 1829 г. Москва.



Гр. А.Ф.ЗАКРЕВСКАЯ
1828г. Петербург.



Н.Н.РАЕВСКИЙ старший
23 февраля – март 1821 г. Каменка?Одесса?Кишинев?



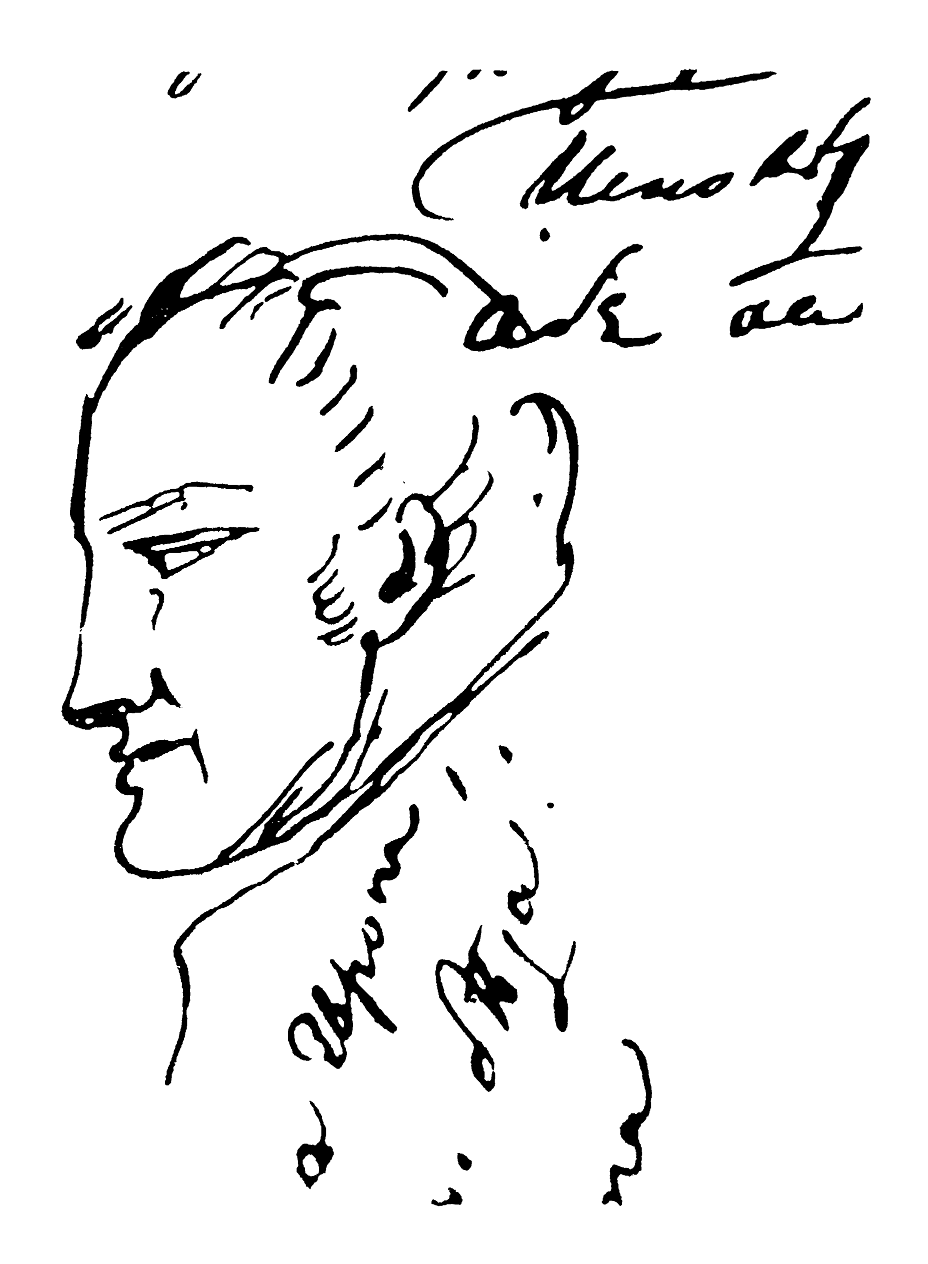


Н.Н.ПУШКИНА
6 октября 1833г. Болдино.

АВТОПОРТРЕТ
1827–1830 г. Москва.



ЖЕНЩИНА В ОБМОРОКЕ.
Лето 1830г.? Петербург? Москва?



П.И. ПЕСТЕЛЬ
8 – 10 октября 1824г. Михайловское.



А.И. ЯКУБОВИЧ
20 сентября - 22 октября 1829г. Москва.



Вертлиб Евгений Александрович родился в 1943 году в эвакуации из блокадного Ленинграда в семье военного врача и учительницы. В 16 лет опубликовал свои первые стихи на Урале. Чуть было не обезножил во время службы в авиации. Пробовал бежать в Швецию, но был пойман пограничниками. В Самиздате ходили его стихи, проза, критические эссе. В 1970 окончил филологический факультет Ленинградского университета, специализируясь на психологии творчества Достоевского. До выезда на Запад – Рождество 1975 – преподавал литературу, эстетику, политэкономию и был старшим научным сотрудником Ленгосархивов. В 1983 защитил докторскую диссертацию в северокаролинском университете США о феномене послесталинского возрождения. Преподавал в калифорнийских институтах: военных языков и международных отношений. С лета 1985 – профессор в Военном Институте по изучению СССР (ФРГ). Член ПЕН-КЛУБА и Американской Академии политических наук. Опубликовал в Америке и Европе около пятидесяти своих статей, стихотворения. Неоднократно участвовал в международных советологических дискуссиях и конгрессах славистов. Две его старых рукописи – 1977 и 1983 – в США стали книгами: «1812 год у Пушкина и Загоскина (к вопросу об истоках русского самосознания)» и «Василий Шукшин и русское духовное возрождение».

ISBN: 0-911971-52-1